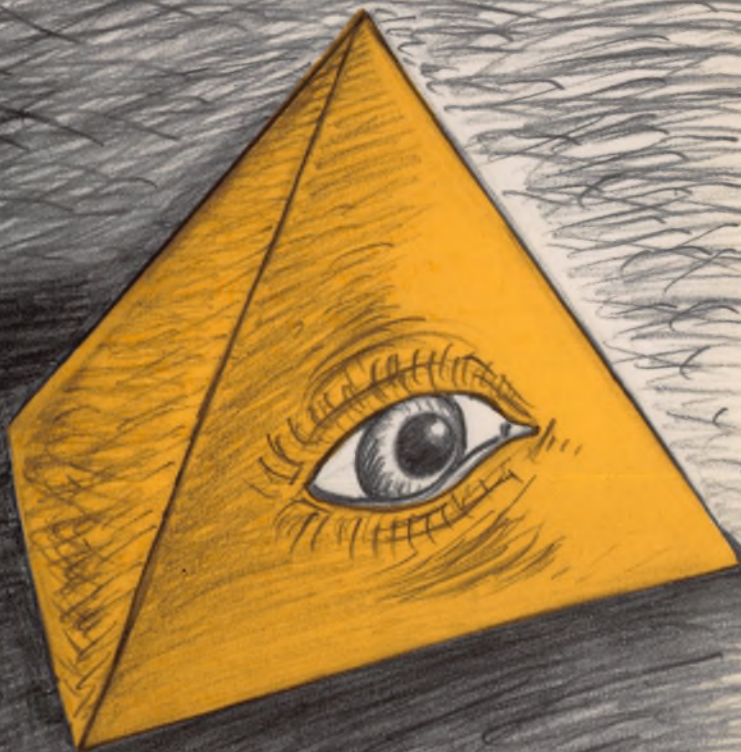


Йохан Хейзинга Об исторических жизненных идеалах

Йохан Хейзинга

**Об исторических
жизненных идеалах
и другие лекции**



**ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ
ЖИЗНЕННЫХ
ИДЕАЛАХ**

Johan Huizinga

**HISTORICAL IDEALS OF LIFE
AND OTHER ESSAYS**

Translated from Dutch
by Irina Mikhailova

Edited by Yuri Kolker

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1992

Йохан Хейзинга

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ ИДЕАЛАХ

С голландского перевела
Ирина Михайлова

Под редакцией Юрия Колкера

Overseas Publications Interchange Ltd
London 1992

Johan Huizinga: OB ISTORICHESKIKH ZHIZNENNYKH IDEALAKH
Translated from Dutch by Irina Mikhailova
Edited by Yuri Kolker

First Russian edition published in 1992
by Overseas Publications Interchange Ltd
8 Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Johan Huizinga Estate
Copyright © Russian edition
Overseas Publications Interchange Ltd, 1992

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 1 870128 44 3

Translated from texts in VERZAMELDE WERKEN (1948-53)
H. D. Tjeenk Willink & Zoon

Сверка и перевод цитат: Борис Хазанов

Cover design by Andrzej Krauze

Printed and bound in Great Britain
by J. W. Arrowsmith Ltd, Bristol

СОДЕРЖАНИЕ

Задача истории культуры	7
Об исторических жизненных идеалах	91
Патриотизм и национализм в европейской истории	118
<i>Примечания автора</i>	205

ЗАДАЧА ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ¹

В Нидерландах каждая диссертация должна следовать строго установленному принципу изложения, при котором текст строится в виде системы тезисов с соответствующими доказательствами. Это правило есть не что иное, как воспоминание о более раннем периоде науки. Вывешивание на стене тезисов и их защита суть действия обычные во времена Абеяра или Лютера. В средневековых университетах тезисы и диспуты были основным средством формулирования научных проблем. В качестве интеллектуального метода они отвечали тогдашней системе мысли, в качестве духовной формы — запросам жизни. Средневековый университет служил ареной борьбы в самом прямом смысле этого слова, он был палестрой для гимнастических упражнений, ристалищем для рыцарских турниров. Здесь происходили важные, а подчас и опасные соревнования. Деятельность университетов, также как и рыцарства, носила характер посвящения, принятия в свой круг, или пари, вызова на поединок, а затем и боя. Средневековая университетская жизнь состояла из непрерывных диспутов, проводившихся по всем правилам церемониала. Как и турниры, диспуты были одной из важных форм той общественной игры, из которой возникла культура.

¹ В статье использован материал, на основе которого автором был в 1926 году сделан доклад на собрании Исторического общества в Утрехте, а затем прочитана лекция в Цюрихском университете. — *Последующие надстрочные номера отсылают к примечаниям автора на странице 205.*

Как технические приемы, тезисы и диспуты превосходно соответствовали структуре средневекового мышления и средневекового общества. Оружием в этих схватках служил силлогизм. Трехчлен силлогизма знаменует собою триединство копья, щита и меча. Доктор и бакалавр, подобно рыцарю и оруженосцу, сражаются одним и тем же, в равной мере благородным оружием. Тезис предполагает общую для обеих сторон ограниченную и замкнутую систему представлений, в рамках которой каждому понятию дается строго рациональное определение, — иными словами, он подразумевает систему схоластическую. Эта система, в свою очередь, исходит из допущения о том, что обоим мыслителям свойственны близкие формы мышления, определяемые культурой их времени. Ибо должен существовать код, с помощью которого люди понимают друг друга. Подразумевается, что каждый из противников знает условия игры и владеет искусством фехтования — правилами формальной логики. Наконец, тезисы предполагают известную степень догматического, жесткого мышления; они несовместимы с мыслью о том, что все наши понятия и представления несамостоятельны и относительны, — то есть с мыслью, характерной для нового времени.

В наше время уже почти ничего не осталось от тех культурных условий, которые определили расцвет тезисов. Эти условия еще существовали во времена гуманизма и реформации. В какой-то мере они сохранялись, хоть и в ослабленной форме, и в эпоху просвещенного рационализма, с большим опозданием давшего нашей стране королевское решение 1815 года о высшем образовании. В настоящее время этих условий нет вовсе; тезисы сделались устаревшим оружием, гусиным пером в руках машинистки. В качестве педагогического приема они сохраняют свое значение в математике, в остальных же областях остаются в употреблении лишь как элемент академического ритуала. По своей природе тезисы более уместны в науках, носящих более нормативный характер. Чем менее систематична наука, тем труднее ей пользоваться тезисами. Тезисы еще способны, ве-

роятно, сослужить хорошую службу в области догматической теологии и юриспруденции. Найдется место для них и в литературоведении и языкознании, но лишь на периферии этих наук. Историк же обходится без тезисов с легкостью. Мир его представлений слишком расплывчат, его обобщения слишком нестроги, конфигурация его идей слишком отличается от таковой его соседа, чтобы идеи обоих можно было уловить в силки тезисов или в сети силлогизмов.

Последнее справедливо, если речь не идет исключительно о критике или о методе. Здесь форма тезисов в применении к истории может оказаться если не вовсе необходимой, то уж во всяком случае полезной. В форме тезиса можно поставить вопрос об истинности или ложности утверждения, о приоритете, о заимствовании, а также вопрос о правильности или желательности использования определенного метода. Однако в основе своей эти вопросы не суть собственно исторические, и место им — в прихожей исторической науки.

Автора, после такого вступления предпринимающего попытку упорядочить мысли об истории культуры в форме обоснования пяти тезисов, можно заподозрить в избытке тщеславия, прикрываемого бравадой. Но пусть это станет еще одним доказательством культурно-исторического родства между доктором наук и рыцарем, который тоже любил подчас продемонстрировать свою удаль, вооружившись для поединка старым ржавым мечом и не прикрываясь щитом. Он не догматик — и выезжает на арену не с условием везде и всюду придерживаться одного и того же принципа. Вместе с тем, в прямую противоположность сказанному, форму тезисов с неменьшим основанием можно рассматривать как сверхсовременную. Тогда оправданием ее выбора будут такие достоинства как наглядность и определенность, способность привлечь внимание, короче говоря, достоинства, свойственные head-line*.

* заголовок (англ.), — прим. издателя.

*Историческая наука страдает неудовлетворительной
формулировкой вопросов.*

Тот, кто имеет привычку регулярно просматривать выпуски хотя бы некоторых исторических журналов, невольно испытывает чувство досады от одного только чтения рефератов, свидетельствующих о потоке бесчисленных исследований, статей, публикаций, из месяца в месяц поднимающих уровень воды в мировом океане исторических материалов. Читая эти рефераты, видишь, что усилия всех ученых мира сосредоточены на исследовании каких-то микроскопических деталей. Здесь — несколько писем какого-то незначительного дипломата ничтожного государства, там — счета никому неизвестного монастыря, — словом, целая река *quiesciliae**. Каждое из этих исследований имеет для читателя познавательную ценность лишь в том случае, если по характеру своей работы этот читатель непосредственно связан с описываемым предметом. И вот мы в сомнении задаемся вопросом: в скольких умах может по-настоящему осесть каждый из этих бесчисленных плодов исторической мысли? Ответ может быть только один: в очень немногих. Если бы существовала статистика, указывающая, сколько раз прочитывается и насколько основательно усваивается все то, что напечатано; каково истинное соотношение между трудом, затраченным на научное производство, и ценностью полученной продукции в целом для духовного потребления, то мы бы, вероятно, ужаснулись. Усилия авторов в пересчете на страницу публикаций и количество читателей в пересчете на месяц исследовательского труда вылились бы

* пустяки, вздор (лат.), — прим. издателя.

в удручающие цифры и графики. Если нас не утешит притча о зерне, упавшем на каменистую почву, то неизбежно возникнет вопрос: не является ли работа научной машины безнадёжным и бессмысленным переводом энергии?

В исторической науке с ее неизбежно бессистемным характером мысль постоянно движется в расходящихся направлениях. Из всех исследований лишь немногие сохраняют связь с тем первичным знанием, от которого историческая мысль с самого начала оттолкнулась. Здесь мне возразит критически настроенный исследователь. Он скажет: нет, эта связь сохраняется; каждая монография — это *Vorarbeit** для последующей разработки вопроса. Материал все еще не достаточно доступен и по-прежнему требует критического отбора. Прежде чем браться за крупные проблемы, нужно многое выяснить в деталях. Мы обтесываем камни для строительства. Мы добровольные лесорубы и водовозы. На это наш внутренний голос ответит: вы тешите себя иллюзией скромного бескорыстия ради чужого выигрыша. Но когда придет строитель, то подготовленные вами камни окажутся в большинстве своем непригодными. Вы не валите деревьев и не рубите стволы, вы строгаєте и шлифуете — и делаете это потому, что силы ваши недостаточны для более тяжелого труда.

К счастью, подобные проповеднические настроения — не последнее слово в методологии истории. Однако, несомненно стоит составить себе представление о том, как фактически протекает жизненный процесс в той или иной науке. Поскольку все мы в душе реалисты², нам стоит немалых сил отклонить представление о том, что где-то наука предстает во всей своей полноте как некое единое *Gebilde***. Если существует и, кажется, даже признается правильным такое представление об искусстве, то чем же хуже наука? Можно без преувеличения сказать, что красота и сущность готики

* предварительная работа (нем.) — прим. издателя.

** творение, образование (нем.), — прим. издателя.

проявляются в каждом из важнейших готических произведений, и даже люди, не побывавшие во всех соборах, могут составить себе полное представление об этом стиле. Невольно воображаешь нечто аналогичное в отношении научного знания и научной правды. Не могу судить о том, насколько подобное представление было бы правильным применительно к такой науке как физика. Не исключено, что всю полноту физических знаний и можно вообразить заключенной в отдельном мозгу, что, впрочем, еще не означает, что мозг этот владеет своим знаниями во всех деталях. Физика и история — всегда самые подходящие объекты для сравнения, ибо они располагаются на противоположных полюсах естественно-научного и гуманитарного мышления как самая точная и самая неточная науки. Из противопоставленности истории физике сразу же вытекает следующее суждение: подобной полноты исторического знания и понимания событий представить себе абсолютно невозможно. Знание истории остается всегда лишь потенциальным. Не только в том смысле, что никто не знает всемирную историю или историю государства во всех доступных для изучения деталях, но и в том смысле, что всякое историческое знание об одном и том же предмете, называется ли этот предмет Лейден или Европа, в голове у А выглядит иначе, чем в голове у Б, даже если оба они прочитали по данной теме все, что только можно прочесть. Более того, историческое знание в голове у А выглядит сегодня иначе, чем вчера. Еще правильнее сказать так: это знание вообще никак не выглядит, оно ни на миг не может принять какой бы то ни было законченной формы. Ни в одном мозгу это знание не может быть чем-то большим, чем воспоминанием, из которого вызываются те или иные картины. *In actu** историческое знание существует только для экзаменуемого школяра, отождествляющего его с тем, что написано в учебнике.

* на самом деле (лат.), — прим. издателя.

Если человек знает историю страны, это значит, что он может сказать в каждом конкретном случае: столько-то живых представлений я держу в состоянии боевой готовности, моя заряженность историческими знаниями настолько велика, что я стал легко воспринимать новые идеи, я могу критически отозваться на них, присоединить их к уже имеющимся представлениям и ассимилировать их. В результате у человека возникает иллюзия того, что все эти представления образуют единую картину. При этом случается, что представление о части, живущее в сознании одного человека, имеет большую познавательную ценность и даже носит более универсальный характер, чем представление о целом у другого. Причем мы здесь сравниваем не ученого со школяром, а двух ученых. Среди доморожденных историков встречаются порой гиганты исторической мысли, а среди столпов университетской науки — бездушные лавочники, торгующие знаниями.

Вот что мы хотели сказать о *жизни* науки в индивидуальном сознании. Какой же тогда смысл говорить об этой науке как о чем-то объективном, как о составляющей культуры, — говорить не о том, что знает А и что знает Б, но о том, что якобы *известно* вообще? Например, в настоящее время *известно*, что Magna Charta* не была либеральной конституцией, родившейся из просвещенных и дальновидных гражданских побуждений. Что же это означает? Средний просвещенный англичанин, посещавший школу до 1900 года, вероятно, не знаком с этими новейшими сведениями о Magna Charta. Средний просвещенный иностранец знает весьма смутно или вовсе не знает, что именно стоит за словами Magna Charta. Таким образом, слово *известно* означает лишь то, что благодаря созданию в последнее время превосходных связей между исторической наукой и преподаванием истории в британских средних школах в английское образование уже проникло более точное представление о Вели-

* Великая хартия вольностей (англ.), — прим.издателя.

кой хартии вольностей, вытеснив при этом представление традиционное. Следовательно, говоря «известно», мы на самом деле подразумеваем либо некое собрание просвещенных умов, либо историческую науку как некую абстрактную сущность. Тем самым мы снова приходим к противопоставлению *номинализм — реализм*.

Метафоры «наука признает», «наукой установлено» не только имеют право на существование, но подчас и необходимы. Рядом с нашим представлением о доступном человеку индивидуальном знании мы должны удержать и образ некой динамической величины, именуемой исторической наукой, которая хоть и не укладывается полностью в мозгу одного человека, но, тем не менее, остается неким единым целым. Под таким углом зрения все это устрашающее историческое производство, разрабатывающее бесчисленные детали, внезапно приобретет совсем иной облик. Совершенно неважно, будет ли исторический труд понят десятию тысячами или девятью читателями. Не нужны и вошедшие в обыкновение бесчисленные оправдания, все эти слова о том, что данная монография — всего лишь *Vorarbeit* для последующего синтеза. Подобно любому другому существу, она имеет право на жизнь, не отличаясь в этом от дрозда, поющего на ветке, или коровы, жующей траву. Историческая наука — это культурный процесс, мировая функция, отчий дом со множеством помещений. Количество тем не поддается счету, и каждая из них известна лишь немногим. Но дух времени, в котором живет исследователь, определяет некую однородность, гармоническое звучание, конвергенцию результатов, полученных в ходе совершенно различных на первый взгляд исследований. В каждый период существует реальная гомогенность исторических знаний, хотя ни один ум и не в состоянии вместить их совокупности во всей полноте. Проявляясь в совершенно разнородных сведениях относительно совершенно различных предметов, обнаруживается некая полифоничность знаний, некое *consensus*

omnium*, допускающее, тем не менее, бесконечное количество вариаций в мнениях и суждениях. В каждой области накапливаются результаты тщательных исследований, образуя очаги углубленного знания. Это не означает, что узкие исследования приобретают ценность только с появлением ученого, способного осуществить синтез, сделать вывод из всех имеющихся знаний. Это означает, что международный обмен научной продукцией оказывает влияние на формирование направлений и развитие новых представлений о том или ином историческом предмете. Например, во Франции, Италии и Германии работают над историей десятилетий. Конкретное, очищенное знание этого предмета вообще существует *in actu*** лишь для очень немногих, но *in potentia**** — для всех. Что имеется в виду, когда говорят о «нынешнем уровне знаний» по тому или иному предмету? Пусть предмет этот будет называться *Меттерних*. Никто не знает всего, что написано в книге фон Србика *Меттерних*, наверное, даже сам автор, если под словом *знать* подразумевается *держат в памяти, владеть*. Тем не менее, можно сказать, что эта книга с учетом замечаний, сделанных научными оппонентами Србика, определяет уровень науки в отношении предмета, называющегося *Меттерних*. Отсюда тотчас же становится ясным, насколько расплывчато всегда словосочетание *уровень наших знаний*.

Таким образом, если признать, что историческая наука существует как некий объективный дух, как форма познания мира, живущая лишь в бесчисленном множестве умов в их совокупности, причем даже самый крупный ученый улавливает от этого объективного духа, говоря языком старых девотов, *лишь малую искорку*, то отсюда явится еще одно приятное следствие. А именно, это признание означает реабилитацию чести антикварного подхода к истории, кото-

* всеобщее согласие (лат.), — прим. издателя.

** в действительности (лат.), — прим. издателя.

*** потенциально (лат.), — прим. издателя.

рый Ницше некогда отбросил как неполноценный. Непосредственная, спонтанная, наивная любовь к вещам, пришедшим из прошлого, движущая, например, увлеченным родной историей дилетантом или специалистом по генеалогии, есть не только начальная, но и полноценная форма тяги к историческим знаниям. Кто испытывает эту страстную любовь, это тяготение к прошлому, тот согласен разобраться в одном маленьком уголке, в одной незначительной связи минувших событий, однако движущий им порыв к знанию может быть столь же глубок и чист и точно так же вести к истинному пониманию, как и порыв, владеющий человеком, пожелавшим охватить разумом и небо, и землю. Не довольствуется ли благочестивый верующий самым скромным служением Господу?

Поэтому ученому, занятому разработкой узкого вопроса, нет нужды оправдывать свой труд ссылкой на его предварительный или подготовительный характер. Его истинное оправдание лежит намного глубже. Он удовлетворяет жизненную потребность, он подчиняется благороднейшему побуждению современного духа. Принесет ли его работа плоды, годные для дальнейшего, вопрос не столь существенный. Полируя одну грань из миллиарда подобных ей, исследователь является частью исторической науки своего времени. Через него осуществляется живая связь современного духа с минувшим, некогда полным значения. Почтительно обращаясь с отжившими свой век вещами былых времен, он видит, как возникают маленькие, но живые кусочки правды, каждый из которых столь же ценен и нежен, как выращенный на подоконнике цветок.

Похоже, что из настроения проповеднического мы ударились в тон, звучащий куда оптимистичнее, чем можно было ожидать после нашего мало обнадеживающего тезиса. Значит, *all's well with History**, и каждый халтурщик может

* с историей все в порядке (англ.), — прим. издателя.

считать, что он корифей науки? Так оно и было бы, если бы все люди были мудры, а история оставалась только жизненной потребностью, не превращаясь в школьную обязанность. Но любая современная наука, независимо от ценности ее чистого продукта, представляет собою огромную общенациональную и международную организацию. И, как всякая организация, она не может избежать давления системы и влияния общего процесса механизации, являющегося результатом налаженного взаимодействия наших сегодняшних культурных средств. Машина современной исторической науки включает в себя университеты с их системой семинаров, экзаменов и диссертаций, а также академии наук, институты и общества по публикации источников или по содействию специальным историческим исследованиям, журналы, научные издательства, комитеты по культурному сотрудничеству и т.п. Каждая из этих деталей машины хочет и должна работать, каждое средство производства должно выпускать продукцию и потому требует сырья. Номера журналов должны быть заполнены, издатель должен поставлять на рынок новые книги, институт публикаций не может стоять без движения. Молодому историку надо доказывать свои способности в диссертации и в статьях, старому — подавать признаки жизни. Описывая все эти элементы как детали некоего научного механизма (ибо таковыми они выглядят со стороны), мы вовсе не умаляем величия или живого блеска порывов, заставляющих цивилизованное человечество заниматься наукой. Безудержная жажда знаний — вот основа всего, включая и научный механизм. Мы здесь всего лишь констатируем тот факт, что научное *производство* подразумевает не только свободный умственный труд мыслителей, но и нуждается в общественном аппарате, необходимом для обеспечения этого умственного труда, причем по мере совершенствования науки сам этот аппарат становится все внушительнее и требовательнее. Мельница должна молоть. Что же она мелет?

Исследовательская деятельность историка в значительной мере заключается в том, чтобы добыть и очистить ма-

териал, приготовить его к употреблению. Историк приходится не столько молотить, сколько веять и просеивать. Исторический материал не лежит на поверхности. Даже имеющиеся сведения — это еще не сам материал: материал залегает в глубине дошедших до нас сведений. В исторической науке речь идет не только о пути от материала к знанию, пути, который оказывается здесь длиннее и труднее, чем в других науках, но также о тяжелом пути от незнания к материалу. В естественных науках, если они не содержат исторического элемента, сам материал уже дан, определен, доступен для наблюдения, классификации и опытов. В исторической науке материал, т.е. некие события в некоем прошлом, не является данностью. Исторического материала уже больше не существует в том смысле, в каком существует природа. Чтобы представить его таким, как если бы он существовал, историк должен произвести сложнейшую работу, состоящую в выявлении и установлении истины, содержащейся в дошедших до нас сведениях, в многократном просеивании этих сведений, прежде чем он доберется до сырого материала, пригодного к использованию, т.е. до фактов. Все это, конечно, лишь подготовительная работа, препарирование и инвентаризация.

Значит, вся работа историка есть *Vorarbeit*, за исключением окончательного синтеза? Нет. На самом деле, если все идет как надо, то уже по ходу добывания материала и происходит вызревание самого исторического знания. Проникновение в суть исторического явления есть процесс, начинающийся не только после критической переработки сырого материала; он протекает постоянно уже во время раскопок, наука претворяется в личность не только при синтезе, но уже при анализе. Никакой исторический анализ невозможен без постоянного указания на его смысл. Чтобы можно было приступить к анализу, в уме уже должен намечаться синтез. Чтобы еще только начать работать лопатой или мотыгой, необходима та или иная концепция упорядоченных связей.

Как раз здесь и кроется недуг. К работе над материалом обычно приступают прежде, чем надлежащим образом ста-

вят вопрос. Историк выкапывает материал, на который нет спроса. В ожидании дальнейшей переработки отобранный материал накапливается, образуя большие кучи, переполняя все склады, какими располагает наука. Публикуемые источники оказываются не источниками, а лужами стоячей воды. Этим недугом страдает не только публикация источников, но и монографическая обработка материала. Бедняги школяры подыскивают себе тему, чтобы проверить на ней силу своих челюстей, и школа подбрасывает им кусок материала.

Даже самые полные и самые лучшие сведения сами по себе аморфны и немы. Из таких сведений еще только должна родиться история, представляющая собой ответ на заданный вопрос. Но вопрос этот должен быть конкретен, просто желания узнать, *Wie es eigentlich gewesen**, недостаточно. Это знаменитое высказывание Ранке, неправильно понимаемое и часто не к месту употребляемое, было выхвачено из контекста, где автор использовал его в качестве проходного выражения, и ошибочно воспринято как специально придуманный им *adagium***. В результате оно приобрело программное звучание, грозящее обесценить самое высказывание и превратить его в призыв к стерильному историческому исследованию. Слыша вопрос: *Wie es eigentlich gewesen?*, непроизвольно представляешь себе человека, рассматривающего черепки и пытающегося понять, как выглядела ваза. Но подобные попытки, всевозможное складывание и перекладывание черепков, будет подходящей метафорой исторического исследования лишь в том случае, если мы действуем не вслепую. Для человека, склонившегося над черепками от вазы, которые лежат вперемешку с другими, в вопросе «как же это было?» слово *это* уже включает в себе некий образ вазы. Точно так же слово *es* (это) в высказывании *Wie es eigentlich gewesen* должно быть уже определено представлением о некоем историческом и логическом един-

* как это было на самом деле (нем.), — прим. издателя.

** словечко, присловье (лат.), — прим. издателя.

стве, которое историк стремится обрисовать как можно точнее. Само по себе это единство никогда не может быть заключено в произвольно отрезанном куске прошлого. Ум историка выбирает из предания необходимые элементы и составляет из них картину исторического целого, которое не осознавалось как таковое в те давние времена, когда сегодняшнее прошлое было еще настоящим.

Вот в чем состоит опасность неудовлетворительной формулировки вопросов. Человек без предварительной подготовки берется за материал и начинает его перерабатывать, не зная толком, что именно он ищет. Отправной точкой в здоровом историческом исследовании должно быть желание как можно лучше узнать нечто конкретное, независимо от того, принимает ли это желание форму стремления к чисто интеллектуальным занятиям, к поискам смысла, или же форму потребности в духовном контакте с минувшим. Невозможно приблизиться к истине без ясной постановки вопроса. Где неотчетлив вопрос, неотчетлив будет и ответ.

Недуг кроется в нечеткости вопроса, а не в чрезмерной специфичности предмета. Бесконечный поток узких исследований, проходящий перед нашим взором, никем не читаемых и никому не нужных, пробуждает порой желание произнести диатрибу о границах заслуживающего изучения в истории. Но раздражение это проистекает из нашего собственного ощущения невозможности постичь весь мир истории. Заслуживает ли материал изучения или нет, зависит не от него самого, а от подхода к нему. Человек, вместе с немногими коллегами изучающий историю совсем крохотной области, создает, если эта тема живо волнует его, полноценный очаг служения науке. Для тех же, кто стоит вне поглощенной этой темой группы, предмет его занятий не содержит в себе никакого ответа, ибо почти не предполагает вопроса. Чем лучше разрабатывается узкий вопрос, тем шире раздвигаются границы заслуживающего исследования материала, привлекая все большее число заинтересованных. Наоборот, перенасыщенная не приведенными в систему по-

дробностями разработка вопроса «общезначимого» может все убить всякий интерес к нему у большинства читателей.

Того, кто помнит о всегда потенциальном характере исторического исследования, обилие работ по частным вопросам само по себе не лишит душевного равновесия. Его скорее испугает ощущение, что множество исторических трудов, посвященных как крупным, так и мелким темам, оказывается едва ли не механической продукцией бездушной научной машины. Человек, умеющий взвешивать познавательную ценность исследования, скажет со вздохом, переиначивая известную пословицу: десять дураков могут предложить больше ответов, чем один мудрец — поставить вопросов.

История культуры страдает неотчетливостью в постановке вопроса больше, чем история политики или экономики. Проблематика политической истории, как правило, бывает дана непосредственно, и темы там также выписываются сами собою. Государство или его часть, орган или его назначение — как предмет исторического исследования тотчас *eindeutig** определены и всем понятны, равно как и цепочка событий, происходящих в рамках подобной единицы. То же относится и к экономической истории: предприятие, форма труда, экономические отношения — все это достаточно определенные объекты для наблюдения, с той лишь разницей, что они требуют лучшего, чем политические темы, знания дела для привлечения читательского интереса.

С историей культуры дело обстоит несколько иначе. Предметом истории культуры является культура, но само это понятие, относительно недавнее и ставшее едва ли не приметой нашего времени, бесконечно трудно поддается определению. Разумеется, и в области истории культуры можно ставить вопросы вполне конкретные и узко направленные, например: с каких пор начали есть вилок? или: как исчезла дуэль из обычаев англичан? С методической точки

* однозначно (нем.), — прим. издателя.

зрения подобные вопросы заданы четче и мыслятся яснее, чем вопросы типа «какова суть ренессанса?» Но ответы на вопросы первого типа не создадут истории культуры, во всяком случае, в полном смысле этого слова. История культуры отличается от политической и экономической истории тем, что заслуживает своего названия лишь в одном случае: когда она нацелена на самые глубокие и общие вопросы. Одно государство и одно предприятие существуют как нечто целое, но также и в деталях. Культура существует только как целое. Детали истории культуры будут принадлежать либо области обычаев и нравов, либо фольклору, либо области древностей и легко станут темой всевозможных баек и анекдотов.

Это не значит, что всякая деятельность на поприще истории культуры постоянно должна стремиться к охвату целого. Здесь кроется другая большая опасность, о которой мы будем говорить позже. Разделами истории культуры можно считать историю религии и церкви, историю искусств, литературы, философии, науки и техники. Во всех этих областях задача исследователя — углубление в детали; описание объектов потребует еще много труда. Однако результаты подобных исторических штудий, даже если они дадут синтез и объяснение фактам, не будут еще историей культуры. Даже история стилей и история мысли едва ли могут быть названы историей культуры. Лишь тогда, когда обе они будут рассматриваться как факторы, определяющие формы жизни, формы творчества и мышления в их совокупности, можно говорить об истории культуры в полном смысле этого слова. Характер этих форм исследователю не задан. Формы обретают свой облик лишь в наших руках. Именно потому, что история культуры почти на сто процентов является продуктом свободного духа исследователя и мыслителя, здесь абсолютно необходима особая осторожность при постановке вопросов. Каждый плохо поставленный вопрос искажает картину. И порою кажется, что вся история культуры в ее нынешнем виде состоит из одних только искаженных картин.

II

Понятие развития мало пригодно для исторической науки и, как правило, затрудняет и запутывает исследование.

Нас упрекают в неудовлетворительной постановке вопросов! — дерзко воскликнет молодой историк. — Велика беда! Ведь в нашем распоряжении есть понятие *развития*, — отчего бы не внять настойчивому призыву greift nur hinein*: только вонзи нож, и где ни сделаешь надрез, везде можно нацедить крови истории.

Многие полагают, что если ты пользуешься понятием развития, то твоя работа приобретает печать научности, нечто вроде фабричного клейма, подтверждающего доброкачественность готового для духовного потребления продукта. Не оттого ли Бернхайд считает историю полноценной наукой, что она рассматривает всякую цепочку событий как развитие? Каждый отрезок истории содержит в себе развитие, и стоит только увидеть результат этого развития, пусть даже и промежуточный, как вопрос уже оказывается задан, и ты защищен от любых нападков.

Я не собираюсь отрицать важности и полезности термина *развитие* для гуманитарных наук. Покажем лишь, что он приносит вред, когда его употребляют бездумно, не осознавая заключенной в нем метафоры. Никак не уточняемое понятие эволюции часто выступает в роли панацеи и, как всякая панацея, приносит лишь мнимое исцеление.

К концу XIX столетия могло казаться, что переживающие расцвет естественные науки выработали универсальные критерии настоящей науки и, тем самым, сделали свои методы обязательными для всего современного мышления как единственный путь к истинному знанию. С тех пор если

* смелее вмешивайтесь (нем.), — прим. издателя.

какой либо вид духовной деятельности претендовал на то, чтобы называться наукой, он должен был приноровиться к постановке точных вопросов и применению точных методов. Не требовал ли Огюст Конт, чтобы все гуманитарные науки следовали только таким путем? Не вступили ли на этот путь многие из них: языкознание, экономика, этнография? не ему ли они обязаны своим высоким полетом? Наконец, настал черед и самой несистематической из всех наук, матери семейства — истории. Ей тоже пришлось прибрать все свои беспорядочно разбросанные пожитки и переустроить свою жизнь на современный лад. Выкинем весь этот хлам, все эти мелкие детали, не имеющие познавательной ценности, ведь они уже сослужили свою службу в качестве эмпирического материала, на основе которого выведены общие правила.

Однако как только на историю всерьез начали нападать с подобными высказываниями, прозвучали слова *sit ut est aut pop sit**. Будто инстинктивно историки в лице Карла Лампрехта восстали против новых требований, предъявленных к их науке. Тут же подоспела помощь со стороны философии. Между 1894 и 1905 годами философы В. Вильдебанд, Х. Риккерт, Г. Зиммель и другие в борьбе за сущность исторического знания, начатой Дильтеем, поставили современную теорию познания в гуманитарных науках на собственную основу, тем самым освободив их от норм, установленных естественными науками. Эти мыслители показали, что уже по своему характеру и путям возникновения историческое знание в самой сущности своей отличается от знания в естественных науках, что история, не ставящая своей целью выявлять особенности событий, обрекает себя на полное обнищание, а требование заниматься выявлением лишь общих закономерностей, выраженным в понятиях, в применении к истории равносильно *petitio principii***.

* пусть будет как есть или не будет совсем (лат.), — прим. издателя.

** букв.: претензия к первоисточнику; построение доказательства на основе положений, которые сами нуждаются в доказательстве (лат.), — прим. издателя.

После этой борьбы тридцатилетней давности история спокойно идет своей дорогой, ей более не мешают враждебные ее природе требования, которых она все равно не способна выполнить. Сущность ее не изменилась, она по-прежнему приносит те же плоды, что и раньше. Такое постоянство уже само по себе убедительно доказывает, что история должна существовать самостоятельно, будучи по природе своей гуманитарной наукой. Ведь если бы истории суждено было стать точной позитивной наукой, то что помешало бы ей проделать этот путь за тридцать лет (целая человеческая жизнь!), которые прошли с того времени, как ей впервые был брошен вызов?

Если сегодня хотя бы бегло ознакомиться с последними работами по теории науки³, то станет ясно, что по крайней мере в Германии, где в подобные вопросы вникают глубже, чем где-либо, точка зрения, признающая самостоятельность гуманитарных наук, находит еще больше убежденных приверженцев, чем в те времена, когда Риккерт писал свои *Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung**. Похоже, что теперь новые попытки к сближению предпринимаются уже со стороны естественных наук, которые, можно допустить, несколько изменили свои представления о точности.⁴

Но из того несомненного факта, что среди философов культуры побеждают отчетливые представления о самостоятельной сущности гуманитарных наук, вовсе не вытекает, что большинство историков прониклись этими представлениями. Если взять слово *развитие* в его повседневном смысле, то станет очевидным, что на практическое исследование истории по-прежнему мощное и постоянное влияние оказывает естественно-научное мышление; что историю подавляет главенство естественных наук; что на языке истории часто говорят с естественнонаучным акцентом, языку этому отнюдь не свойственным.

* Границы образования понятий в естественных науках (нем.), — прим. издателя.

Представление о развитии как о средстве постижения мира обязано своим возникновением скорее историческому мышлению, чем естественным наукам. Его появление было подготовлено французской философией XVIII века. Вольтер, Тюрго, Кондорсе были первыми, кто увидел в длительных исторических процессах постепенный переход, постоянное изменение, прогресс. Такой взгляд шел вразрез с господствовавшим тогда представлением, согласно которому значительные исторические перемены происходят в результате чьих-то сознательных усилий. Мысль о целенаправленном, медленном, непреднамеренном становлении культурной жизни обретает более глубокое содержание у Гердера, затем у немецких романтиков и, наконец, у Гегеля. В первой половине XIX века вместо слов *трансформация, изменение, прогресс* постепенно начинает применяться термин *развитие*. Он используется, как правило, в чисто идеалистическом значении и не в связи с конкретными формами природы, а в связи с мысленными представлениями⁵. Возникает концепция, согласно которой группа явлений представляет собою некое единство бытия и смысла. Последовательные изменения состояний этого единства стали рассматриваться в свете угадываемого за ними смысла, обыкновенно приписываемого целому. Целое *становится* тем, чем оно должно быть по смыслу. Этот процесс и был назван развитием.

Понятие развития тесно связано с понятием организма и дополняет представление о нем. Но и понятия *организм, органичный* также берут свое начало отнюдь не в современных естественных науках⁶. Это метафора, причем древнейшая; уже в мифах и баснях строение человеческого тела переносилось на абстрактные представления — с тем, чтобы с помощью наглядного облегчить постижение отвлеченного. Если же назовем концепцию организма биологической, то придется говорить о примитивной, проникнутой мифологическими представлениями биологии. Концепция развития требует от исследователя большой степени реализма, чтобы он мог пользоваться ею как средством познания. Необходимо верить в существование самого единства, в котором в силу

внутренних (эндогенных) причин происходит развитие. Метафора подразумевает процесс, определяемый присущими этому единству тенденциями.

И вот во второй половине XIX века начинается триумфальное шествие естественнонаучной идеи развития. Теория биологической эволюции в ее современной, развитой Дарвиным, форме воцаряется в науке как нечто незыблемое и вечное. Представление об эволюции заворожило целые поколения, им проникнут весь строй нашей мысли. Оно живет в нашем сознании как нечто само собою разумеющееся, непреходящее и всемогущее. Сознаем мы это или нет, оно почти всегда воздействует на нас, когда мы пытаемся окинуть взором течение событий в их взаимосвязи. Прежнее, идеалистическое и абстрактное представление о развитии получает биологическое наполнение. Все это можно уподобить эху в Латеранской капелле: произнесите простые слова «изменение, трансформация, последовательность стадий» — и в ответ грянет «эволюция»⁷. Каждое состояние, каждое отношение, как в обществе, так и в природе, а priori выдает себя за продукт развития. Слово это настолько вошло в повседневную жизнь, что превратилось в расхожую монету. Образ, лежащий в его основе, забылся, слово стало бесцветным обозначением причинно-следственной детерминированности в самом общем смысле; им пользуются, не задумываясь, не отдавая себе отчета в том, каково логическое содержание этого представления.

Тут являются бесстрашные и бойкие эволюционисты, для которых мировая история не таит более никаких загадок; они черпают о ней сведения из газеты предания. Ведь в кармане у них лежит ключ, позволяющий объяснить любое различие времен, любую смену империй и культур. Они беззастенчиво срывают одну за другой все семь печатей, за которыми таится прошлое. И добиваются своего. В их руках вся мировая история становится простейшей штукой, понятной каждому ребенку. Они весело и отважно хватаются за свиток истории человечества и раскатывают его в единую

картину под громкое ликование и одобрительные возгласы окружающих. Каких только аплодисментов не снискал Герберт Джордж Уэллс с его *Outline of History** и следом за ним Х. В. ван Лоон, написав свою *Story of Mankind***. Но человеческого прошлого этим авторам оказалось недостаточно. Чтобы видна была перспектива, им пришлось дать всю предшествующую историю самой планеты и вообще всю историю жизни на земле. Нас приглашают еще и в парную баню остывающей и затвердевающей планеты. На первый взгляд мысль эта совсем недурна. На самом же деле упомянутые авторы просто недооценивают природу исторического знания. Геологические и палеонтологические процессы человек понимает с помощью другого отдела мозга, чем историю: с помощью отдела, предназначенного для восприятия точных наук, то есть нацеленного на другую разновидность знаний. Смешение этих каналов восприятия может вызвать к жизни лишь гибрид, приводящий наш разум в замешательство.

Но ведь это все популярные сочинения дилетантов, — скажете вы, — они и дают публике то, чего она хочет. Говорящий так совершает опасную ошибку, недооценивая роли общественного мнения. Историческому знанию, носителями и хранителями которого является горсточка посвященных, постоянно угрожает опасность. Историческое знание должно покоиться на лоне исторической культуры, которая есть достояние всех цивилизованных людей. Упомянутые книги говорят не в пользу современного общества, интересы которого в области истории склоняются к весьма сомнительным направлениям. Более того, сами эти книги способствуют, в том числе и своими неопровержимыми достоинствами, формированию направленности этих интересов. Европейская историческая традиция еще противостоит подобного рода новым тенденциям, но в Америке какая-нибудь

* *Очерки истории* (англ.), — прим. издателя.

** *Повесть о человечестве* (англ.), — прим. издателя.

книга в духе *The Mind in the Making** Дж. Харви Робинсона, сочинение серьезного историка культуры, основанное, тем не менее, на совершенно наивном эволюционизме, даже в научном мире считается полноценным изложением современных знаний.

Немалый вклад в распространение поверхностного представления о развитии в повседневном обиходе исторической науки внесла, несомненно, пользующаяся большой популярностью книга Э. Бернхейма *Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichtsphilosophie*** . Как известно каждому студенту-историку, Бернхейм выделяет три разновидности исторической науки, в соответствии с мотивами, побуждающими заниматься историей. Он различает историю, излагающую события (*referierende*), поучающую (*pragmatische*, прагматическую) и эволюционную (*genetische*, генетическую). Нетрудно было бы показать, что подобная классификация страдает отсутствием логики, что она ошибочна и практически непригодна, однако не будем делать этого здесь и сейчас. Уже В. Бауер, чье более краткое сочинение⁸ начинает постепенно вытеснять книгу Бернхейма, признает, что различаемые Бернхеймом три формы занятий историей не сменяли друг друга во времени и не превосходят одна другую по своим достоинствам. Тем не менее он сохраняет прежнюю классификацию. Еще Лейбниц выделял эти три мотива, составляющие стремиться к историческим знаниям. Он писал: «*Tria sunt, quae expetimus in historia, primum voluptatem noscendi res singulares, deinde utilia inprimis vitae praecepta, at denique origines praesentium a praeteritis repetitas, cum omnia*

* Разум в процессе развития (англ.), — прим. издателя.

** Учебник исторического метода и философии истории (нем.), — прим. издателя.

optime ex causis noscantur.»^{*9} Эта последняя цель подразумевает в точности то же самое, что Бернхайд называет *genetische Geschichtsbetrachtung*^{**}. Когда дикарь в форме мифа создает свое представление о происхождении видов; когда греческие логографы рассказывают о родословных и об основании городов; когда Геродот задается вопросом, «из-за чего они отправились воевать», то во всех этих случаях можно говорить о генетическом мышлении. Уравнивая в правах термины *генетический* и *развивающийся*, Бернхайд, на мой взгляд, совершает двоякую ошибку. Он недооценивает познавательного значения более ранних фаз изучения истории и переоценивает современное историческое мышление, словно бы допуская, что в основе его лежал некий более высокий и ранее неизвестный принцип.

Для нас важно как следует разобраться в том, что охватывает и чего не охватывает термин *развитие*, когда его применяют к тем или иным историческим явлениям. Никто не отрицает, что он может способствовать пониманию тех явлений, которые описаны уже достаточно хорошо. Существует по меньшей мере одна область истории, где явственно господствует не испорченная мутациями эволюция: это история платья. Тут и в самом деле действует что-то вроде биологической закономерности, которая определяет развитие форм независимо от таланта, желаний и интересов отдельных людей и всего общества в целом. Историю какого-либо института, формы производства или государственного органа, как правило, тоже можно без особых оговорок подвести

* Занимаясь историей, мы преследуем три цели: прежде всего, получить удовольствие от познания конкретных, в своем роде единственных вещей; далее, извлечь некоторые особенно полезные для жизни уроки; и, наконец, понять происхождение нынешних обстоятельств, поскольку они повторяют то, что было в прошлом, дабы наилучшим образом познать причины всего (лат.), — прим. издателя.

** генетический подход к истории (нем.), — прим. издателя.

под понятие развития. Оно применимо также к истории науки и техники, но от него следует отказаться, как только речь заходит о философии, религии, литературе и искусстве. Даже в тех случаях, когда понятие развития можно употребить при исследовании истории, делать это нужно со значительно большими предосторожностями, чем в биологии, где понятие *развитие* царит безраздельно.

Для биолога любой организм — это самостоятельное явление, носитель ряда имманентных тенденций. Воспроизводя себя при размножении, организм остается постоянным по своей структуре, а филогенетические изменения его органов, форм и функций определяются воздействием среды обитания. На протяжении всего чрезвычайно долгого филогенетического процесса вариации этих внешних воздействий благодаря своему разнообразию и повторяемости уравновешивают друг друга настолько, что с точки зрения развития внутренних эволюционных тенденций среду обитания можно считать фактором постоянным. Однако, как только мы попытаемся представить себе какую-то одну фазу филогенетического процесса, сопоставимую по времени с онтогенезом (то есть посмотрим на биологический объект — организм или популяцию — с исторической точки зрения), это допущение тотчас теряет силу. Совокупное действие внешней среды начинает выступать как непрерывно меняющийся фон, как ряд больших и малых нарушений покоя организмов; внешние воздействия фактически лишают объект его изолированности, самостоятельности и внутренней связности, обыкновенно в нем предполагаемых. Это не более чем метод биологии — рассматривать организм в отрыве от среды его обитания, а его эволюцию — как замкнутый закономерный процесс, лишь иногда, *pro temore**, указывая на зависимость объекта от его окружения. Ни одно из множества внешних влияний, взятое в отдельности, не оказывает прямого воздействия на заложенные в организме

* здесь: для ориентировки; на всякий случай, чтобы не забыть (лат.),
— прим. издателя.

возможности.

В отличие от биологических, исторические события не позволяют безнаказанно отрывать себя от окружения. Если к ним применить только что описанный и успешно применяемый в биологии прием исследования, возмездие не заставит себя ждать: метод заведет в тупик. Можно объективно определить, совокупность каких элементов составляет такое явление природы, как мышь. Но невозможно проделать ту же работу по отношению к понятию *реформация*. И причина тут не в абстрактности явления реформации, а в историческом подходе к нему. Причем неважно, идет ли речь о конкретном историческом лице или об общем историческом понятии. Лютер как образчик биологического рода под названием *человек* поддается строгому определению, но Лютер как историческое явление точно так же ничем не отграничен от окружения и не может быть от него отторгнут, как и самая реформация. Исторический факт нельзя сравнивать с биологическим уже в онтогенетическом аспекте. А перейти от онтогенетического аспекта к филогенетическому история и вовсе не может. Рассмотрим какое-либо историческое явление, остающееся постоянным на протяжении долгих веков, например, француза. Само понятие *француз*, лишь неполно представленное в одном человеке, будет состоять из суммы всевозможных черт, наблюдаемых у разных людей. Напротив, понятие о биологической единице под названием *мышь* полностью реализуется в каждой мыши. Когда историческую единицу, подобную выбранной нами и постоянную на протяжении долгого времени, рассматривают как организм, то это не более чем поэтическая метафора. И наука не только не возражает против таких метафор, но и не может обойтись без них, как не может без них обойтись и сам язык.

Если же подобному историческому *организму* приписать внутреннюю тенденцию, которая дает его *развитию* направление, то мы попадаем уже в сферу телеологии, так как исторический организм, в отличие от биологического, представляет собой связанное целое лишь постольку, поскольку он имеет цель. Здесь тоже не возникает возражений: история,

несомненно, подразумевает мышление, ориентированное на результат, и объяснение хода истории как движения к цели — единственное, на которое мы способны. Но если концепции исторического организма и исторического развития для проверки сравнить с аналогичными концепциями в биологии, то станет ясно, что в первом случае понятия смещены и даже искажены. Если допустить, что их использование в истории все-таки бесполезно, то предполагаемая польза в конечном счете полностью определяется тем, насколько отвечает сути дела сам образ, стоящий за словом *развитие*.

Мы уже говорили о том, что историческое явление намного труднее отграничить от окружения, чем биологическое. Наполеон — это историческое явление, только если рассматривать его в том мире, в котором он жил. Этот мир никак нельзя мысленно отделить от него; Наполеона как исторический организм невозможно даже частично изолировать от окружения, подобно тому, как экспериментатор частично изолирует организм под названием мышь, чтобы в замкнутом окружении изучать влияние на него какого-то одного фактора. Это утверждение остается справедливым и в том случае, если на место Наполеона мы поставим более общее понятие *француз*. Всякое историческое окружение всегда остается открытым. Сколько бы я не перечислял обстоятельства, повлиявшие на осуществление наполеоновского похода в Россию, описанное мною историческое окружение все равно сохранит способность воспринимать новые факты и дополнительные представления по мере их уяснения. Замкнутых исторических организмов не существует.

Тем не менее предположим, что со сделанными выше оговорками мы все же предпримем попытку рассмотреть государства и культуры как организмы. Правильно ли тогда будет говорить о развитии имманентно присущих им внутренних тенденций? Биология в известной степени способна проводить различие между реализацией внутренних возможностей и вмешательством внешних факторов, препятствующих процессу развития. Строго говоря, такое различие имеет разумное обоснование только в рамках телеологичес-

ких представлений. Применительно к историческим событиям даже такую условную границу провести невозможно. С исторической точки зрения в любом соприкосновении человека с человеком и человека с природой все оказывается внешним воздействием. В любой связи, существующей между двумя элементами исторического прошлого, в любом событии заключено столкновение бесчисленных, не связанных друг с другом причинно-следственными отношениями факторов. Восходящая линия причинно-следственных связей, которая заставила принца Вильгельма II Оранского в сентябре 1650 года посетить Дирен, и линия, в результате которой именно там появилась инфекция оспы, встречаются только в *primus movens**. Каждое воздействие извне есть нарушение предшествующего состояния. Биология, для которой это в принципе также справедливо, в филогенетическом аспекте может считать сумму всех нарушений, вследствие их однотипности и постоянства, одним-единственным фактором. Она считает наличие некоторых постоянных условий необходимым для существования организма. Историк не может следовать этим путем. Для него каждое воздействие есть внешнее возмущение. Тем самым понятие развития становится едва ли не сомнительным общим местом. Предположим, что исследуется развитие мексиканской или перуанской цивилизации. Никто не станет рассматривать приход Кортеса или Писарро как фактор этого развития. Ведь этот приход означал катастрофу для всего изучаемого явления¹⁰. Однако такая катастрофа по существу лишь в количественном отношении отличается от бесчисленных событий, определявших прежде развитие рассматриваемых цивилизаций. Все эти мелкие события означали если не полную катастрофу, не гибель всего того, что существовало до них, то во всяком случае *строфу*, т.е. поворот. Всякое историческое развитие — это ежесекундно меняющийся результат простых поворотов.

* перводвигатель, исходная причина (лат.), — прим. издателя.

Многие с готовностью рассуждают о развитии форм правления в Англии, Швеции и Республике соединенных провинций. В каждом из этих трех государств по ходу истории наблюдается поочередное усиление то центральной власти, то аристократии, так что кажется, будто здесь есть некая регулярность. Могучих властелинов, укрепляющих центральную власть, сменяют несовершеннолетние или неспособные правители, а порою и полное отсутствие центральной власти, вследствие чего аристократия вновь получает возможность укрепить свои позиции в ущерб трону. Тем самым возникают отношения равновесия, которые многие склонны называть продуктом развития. На самом же деле каждое из этих изменений было следствием обстоятельств, случайных по отношению к так называемому организму, подверженному их воздействию¹¹. Ни в каких тенденциях, присущих английскому государственному праву, не было заложено, что Вильгельм Завоеватель, Генрих II и Эдуард III будут одаренными правителями и будут править подолгу и что после каждого из них настанет период никудышного правления из-за бесталанности коронованных особ. Точно такими же внешними возмущениями были ранняя смерть Густава Адольфа и Карла X Густава, приведшие и в том и в другом случае к установлению регентства. Вне связи с природой нашего государства находятся ранняя смерть штатгальтера Вильгельма II, бездетность Вильгельма III, невозможность для Яна Виллема Фризо стать кандидатом в штатгальтеры, смерть Вильгельма IV. Все эти генеалогические факторы и такое же количество внешних помех сыграли огромную роль в процессе становления нашего государства. Когда одновременно окидываешь их взором, то возникает картина некой колебательной регулярности. Такая картина соблазнительна для легкомысленного историка, готового вывести правило: развитие формы правления определяется, кроме всего прочего, более или менее регулярным чередованием периодов сильной и слабой власти. Это правило было бы пустой скорлупкой у него в руке, тогда как яйцо живого знания досталось другим. С точки зрения логики такое пони-

мание идеи развития не имело бы ни малейшей ценности, а с точки зрения исторического знания оно было бы полной глупостью и бессмыслицей.

Таким образом, применительно к истории понятие развития в его биологическом значении только затрудняет путь к постижению истины. Уже по сути своей оно не вполне совместимо со спецификой исторических явлений. Даже если смотреть на дело с позиций не совсем исторических применимость этого понятия к области истории видится крайне ограниченной. Понятое во всей своей метафорической полноте, оно оказывается едва ли не вовсе бесполезным. Кто согласится с этим утверждением, признает тем самым необходимость изучать отдельные факты для объяснения каждого отрезка истории.

Мы не хотим углубляться в вопрос о том, следует ли, отказавшись от понятия развития в строгом смысле слова, отказаться и от любого выявления причинно-следственных связей при объяснении исторических фактов, как того требует Шпенглер. Принципу каузальности в теории научного познания в последнее время вообще приходится не сладко. С утверждением о том, что он не считается более универсальным средством познания, хорошо увязывается частичное восстановление в правах старого аристотелевско-схоластического подхода: *causa materialis, afficiens, finalis**. Как бы то ни было, *знать историю* не означает (разве что крайне редко) *уметь вскрывать причинно-следственные связи*. Знать историю — значит понимать некое взаимосвязанное целое. Это взаимосвязанное целое, как было показано, никогда не бывает замкнутым, т.е. его следует представлять себе не в образе цепи, состоящей из звеньев, а в образе вязанки хвороста, слегка перехваченной веревкой, в которую, насколько позволяет веревка, можно добавлять новые прутья. Еще более подходящим и выразительным является образ букета полевых цве-

* материальная, движущая (причиняющая) и целевая причина (классификация причин в аристотелевой *Метафизике*, кн. V, гл.2.), — прим. издателя.

тов. При всех их разнообразии и неравноценности каждое новое понятие, добавляемое к концепции исторически связанного целого, меняет облик этого целого, подобно тому, как меняет облик букета новый, только что найденный полевой цветок.

III

Нашей культуре будет нанесен большой ущерб, если широкой публике вместо серьезных исторических книг будут предлагаться эстетизированные и перегруженные эмоциями сочинения о прошлом. Эти книги порождены литературными потребностями, используют литературные средства и рассчитаны на литературный эффект.

Никакая другая наука не распахивает свои ворота перед читающей публикой так широко, как история. Ни в какой другой науке переход от дилетантизма к профессионализму не происходит так плавно, как в истории. Для восприятия исторических знаний и для занятий историей достаточно меньшей предварительной подготовки и меньших навыков научной работы, чем в любой другой науке. Во все времена историческими штудиями люди занимались преимущественно вне стен школы. В средневековой школьной системе, родившейся из школьной системы поздней античности, для истории вообще не нашлось места. Семь *artes liberales** и увенчивавшие их три великих науки — теология, право и медицина — были почвой, на которой в ходе разветвления и специализации знания произросло большинство современных наук. С историей же дело обстоит иначе. Историческая наука родилась в самой гуще жизни; она всегда расцветает там, где сосредоточена духовная жизнь соответствующей эпохи мировой культуры: на агоре, в монастырях, при коро-

* свободные искусства (в средневековом университете: грамматика, риторика, логика, арифметика, астрономия, музыка и геометрия), — прим. издателя.

левском дворе, в палатке полководца, в рабочем кабинете министра, в редакции газеты. Поскольку ни одно из семи свободных искусств практически не интересовалось историей, историческая наука даже и в новое время была представлена в университетах весьма слабо. Ведь система университетского образования оставалась по существу неизменной вплоть до XIX века. От зарождения гуманизма до расцвета романтизма история дала миру немало прославленных имен, но среди них очень немногие явились из недр академической науки. Затруднительно указать хотя бы одно значительное историческое сочинение этого периода, созданное в стенах университета. В Англии фигура государственного деятеля-историка и теперь еще сохраняет свое значение.

XIX век внес большие изменения в характер занятий историей и в историческую науку в целом. К концу XVIII века наука вообще заняла в культуре и общественной жизни гораздо большее место, чем прежде. Теперь к ней предъявлялись новые требования, настолько высокие, что соответствующие им исследования могли осуществляться лишь в особых условиях — в том питомнике знаний, каковым и является университет. Так история превратилась в академическую науку. Первой страной, где историю начали основательно изучать в университетах, была Германия. Никто не станет оспаривать того, что именно Германия дала девятнадцатому столетию самых крупных историков и что все они вышли из университетов.

Превратившись в академическую науку, история не утратила прежней связи с культурной жизнью. Достаточно назвать такие имена, как Ранке или Фрейн. Если бы связь с жизнью порвалась, пришлось бы признать, что превращение это сослужило истории плохую службу¹², ибо история, существующая вне живого контакта с национальной культурой, история, к которой не приковано внимание культурной части общества, стоит на ложном пути, если только виной тому не деградация самой культурной жизни. Это ни в коей мере не означает, что всякий исторический труд должен приводить к созданию популярных представлений. Напротив, в

истории, равно как и в любой другой науке, для профессионала есть очень много работы, о которой обычный читатель ничего не хочет и не должен знать, попросту не располагая для этого необходимыми средствами. Поиски материала, критический анализ, публикация, интерпретация и комбинация исторических сведений остаются областью, принадлежащей исключительно научному работнику с университетским образованием. Но общая картина прошлого, скрывающаяся за этой работой и как бы витающая над ней, действительно принадлежит всем. Быть *органом культуры*, то есть таким органом, с помощью которого культура осознает свое собственное прошлое — вот задача исторической науки. Но выполнить ее история может лишь в том случае, если она дышит воздухом современной жизни и найдет отклик у широкой публики. Любая наука, желающая быть полноценной, должна стать частью культуры. Но также и любая культура со своей стороны должна быть до известной степени проникнута прошлым. Это важнейшее условие ее существования.

В любой культуре живут те или иные картины минувшей действительности, милые сердцу носителей этой культуры. В зависимости от характера культуры, нуждающейся в подобных картинах своего прошлого, и от той духовной потребности, которая их порождает, они принимают форму мифа, саги, легенды, хроники, жеста или исторической народной песни¹³. Культура, в которой возникают эти формы и которой они служат, воспринимает их в известной мере как *истинные события*. Они удовлетворяют жизненной потребности в знании правды. Если вера в правдивость повествования отмирает, это значит, что время плодотворной жизни соответствующей формы кончилось. Разумеется, она может еще несколько веков влачить жалкое существование, постепенно превращаясь в чистое эпигонство, более того, она даже может пережить собственное возрождение, — но и возрождение это будет мнимым. Между описанными простыми формами и формами, которые по определению основываются на вымысле (например, буколическая поэзия или ро-

ман), лежит глубокая пропасть. Шагнув от *matière de France** в *chansons de geste*** до *matière de Bretagne**** в рыцарском романе, культура преодолевает то же расстояние, что и Три-викрама, тремя шагами измерявший небо и землю. Чем менее развита культура, в которой реализуются эти формы, тем отчетливее видна их связь с религией. Все они, в свою очередь, представляют собой *moral en action*****. Для соответствующей культуры они являются *историей* в той мере, в какой воплощенная в них картина отвечает свойственной данной культуре форме знания. Миф во все времена дает более примитивное знание, чем самая примитивная литература.

Та форма знания, в которую современная цивилизация облакает свои представления о прошлом, уже не имеет ничего общего с мифом; место мифа заступила критическая научная мысль. Современная культура, довольствующаяся мифическими концепциями (что мы можем наблюдать ежедневно), впадает в детство, предается самообману. Когда мы делаем вид, будто верим в исторические представления, о которых наверное знаем, что они вымышлены, то в лучшем случае уподобляемся персонажу из *Панча*, играющему с паровозиком своего сына. Формой понимания прошлого, соответствующей нашей культуре, имманентной ей и являющейся ее полноценным продуктом, может быть только критическая наука. Но чтобы производить этот благородный продукт во всей его культурной ценности, недостаточно одного владения ремеслом, пусть даже простирающегося до мастерства. Степень соответствия культуры нашему исто-

* происходящее во Франции, связанное с Францией (франц.), — прим. издателя.

** *Песни о деяниях* (франц.), старофранцузский эпос IX-XII веков, — прим. издателя.

*** происходящее в Бретани, связанное с Бретанью (франц.), — прим. издателя.

**** нравственность в действии, практическая этика (франц.), — прим. издателя.

рическому знанию определяется количеством образованных людей, которые окажутся в состоянии наслаждаться очищенным продуктом исторической науки.

Следовательно, глубина проникновения исторического знания в жизнь зависит от того, насколько наука преуспеет в производстве критически очищенного продукта, который будет обладать настолько отчетливой жизненной значимостью, что широкая образованная публика заинтересуется им и, войдя во вкус, воспримет его и пожелает его переработать. Рост читательского спроса на плоды исторической науки, когда читателя уже не пугает строгая деловитость, сухость изложения и чисто научные цели, есть лучшее доказательство здорового состояния культуры и подтверждение того, что историческая наука выбрала верный путь. Если же Клио может достучаться до сердец своих почитателей лишь пойдя на уступки и снизив строгие требования, соответствующие современной форме постижения истории, то это свидетельствует о неблагополучии как культуры, так и самой науки.

Едва ли кто-нибудь возьмется утверждать, что в наши дни достигнуто то оптимальное соотношение между культурой и историческим знанием, о котором говорилось выше. Тогда естественно возникает вопрос: не существовало ли уже подобное соотношение во времена наших прабабушек? Ответ на него не прост; одними голыми утверждениями тут не обойтись. При поверхностном взгляде спрос на историю кажется теперь большим, чем когда бы то ни было. Книжки по всемирной истории в популярном изложении, с акцентом на культуру и искусство, с многочисленными иллюстрациями, расходятся как горячие пирожки. То же самое происходит с более скромными книжицами о каком-либо одном историческом периоде (эти дешевые издания малого формата, входящие в какую-нибудь серию, составляются нередко весьма компетентными учеными). С наименьшей жадностью поглощаются, наконец, мемуары, биографии, краеведческие материалы и тому подобное. С другой стороны кажется все же, что нынешние крупные фигуры в области ис-

торической науки в чем-то уступают своим предшественникам, что это уже не те голоса, которые слышались веком раньше. Правы ли мы, когда нам кажется, что голоса Мишле и Маколея звучали в свое время громче, чем то, что мы слышим теперь? Ведь это относительное ослабление звучания может быть вызвано общими изменениями в оркестровке культуры. Общее звучание письменной продукции становится все более шумным, рассеянным, бесформенным, расплывчатым и отрывистым, так что отдельные партии трудно различить. Во всех областях мощные голоса все более теряются в общем реве оркестра.

Однако имеется еще одно обстоятельство совсем иного плана, усложняющее нашу задачу, мешающее исторической науке выполнять ее высокое предназначение. Это конкуренция со стороны литературы. Саму по себе эту конкуренцию нельзя назвать нечестной. Литература, равно как и наука, образует ядро порождающей ее культуры. Функция ее состоит не в том, чтобы писать красивые стихи и рассказы, а в том, чтобы помогать человеку в постижении мира, но только иными методами, отличными от тех, которыми пользуется наука. При постижении мира настоящее и прошлое ни на миг невозможно разделить. Настоящее не становится прошлым: оно уже есть прошлое. Поэтому во все времена пластичный материал литературы был миром форм в своей основе исторических. В освоении присущего ей материала литература не связана предъявляемыми к науке требованиями. Фигуры реального мира служат ей лишь мотивами. Ценность литературных произведений заключена в типичности или символичности фигур, а не в приближении истины, не в ответе на вопрос «так ли это было?». Поэтому литература предпочитает создавать своих героев, свободно черпая из собственного мира образов, и лишь изредка, когда у нее есть на то особые причины, выбирает их из настоящей истории, из мира прошлого, который мы считаем тем, «что было на самом деле». Литература постоянно снимает покров тайны с космических и человеческих отношений, что сегодня еще совершенно недоступно для науки и, очевидно, никогда не

будет ей доступно. По сравнению с науками о человеческом прошлом и общественном устройстве сила литературной формы заключается в ее неограниченной духовной гибкости, композиционной свободе и интенсивности воздействия. Ее слабость состоит в ее вечной неопределенности и в том, что ее продукция ни в коей мере не образует единого целого.

Чтобы ответить на вопрос, чем занимается человек — историей или литературой, достаточно произвести проверку его духовных интересов, пристрастий и побуждений. Если в нем нет всепобеждающей потребности в *истинности*, желания узнать, как что-то «происходило на самом деле» или «как оно было», желания, идущего из глубины души, — то перед нами не историк.

В этом и заключена беда нашего времени. Именно здесь историческая наука имеет все основания жаловаться на недобросовестную конкуренцию. Гибрид, явившийся на свет в результате слияния весьма несходных духовных интересов, получает широкое хождение, причем от нас стараются скрыть его неполноценность. Виноваты здесь не только халтурщики-литераторы, но и тот факт, что количество и качество поставляемых исторической наукой работ не удовлетворяют культурного спроса. Однако вину эту не следует возлагать на профессиональных историков. Бедняги просто уже не справляются со своей задачей, их работа стала настолько трудной, что голова у них идет кругом.

Научные материалы не только по истории целой страны, но и по истории каждого города, каждого учреждения, каждого события постоянно накапливаются и разрастаются за счет публикаций источников и обобщающих их монографий. Уже одного только просеивания этих материалов через сито критики, без которого никакие сведения нельзя считать полноценным историческим материалом, хватило бы, чтобы обеспечить работой целую рать профессиональных историков. Результат их труда является, как правило, еще сырым продуктом, непригодным для непосредственного использования культурой и не предназначенным для нее. Обыкновенно историки сопровождают всякий свой труд

уверениями, что он не более чем *Vorarbeit*, то есть поддерживают будто бы оправдывающую их распространенную иллюзию, о которой мы уже говорили. Между тем будь их работа действительно всего лишь предварительными заготовками, это означало бы, что они выстилают камышом путь воображаемому историческому мессии, в которого никто на деле уже не верит. Мы, однако, уже отметили, что нет ни малейшей нужды поддерживать иллюзию, будто все, что делается историком, суть не более чем заготовки. Профессиональная разработка деталей ценна уже сама по себе. Это не подготовка к будущей благодати, а спокойное служение общим ларам, благоустройство той духовной среды, в которой человек хочет жить.

Однако культура становится все более требовательной. Неудивительно, что историк, осознавая, скольких сил требует от него критическая работа, необходимая для установления каждого подчас незначительного факта; видя, какой пестрый и запутанный материал он исследует, может впасть в отчаяние и усомниться в своей способности решить возложенную на него культурой задачу. В своем понятном унынии он, возможно, предпочтет утешить себя иллюзией, как бы говорящей ему: «Чтобы ответить на этот вопрос как следует, нужно произвести еще ряд предварительных исследований». Затем он закроет дверь в общую культуру, решив впредь работать не архитектором, а каменотесом.

Вот тут-то и вмешивается проворная рука дилетанта. Дилетант видит все перспективы, необходимые для понимания великого целого. Такого рода самообольщения, с опасной легкостью возникающие в нашей духовной жизни, создают у него иллюзию упорядоченности мысли. Чтобы разобраться в чем-то, современному мыслителю не нужны ни строгие формулировки, ни логика. Ему незачем не жалея своих сил пытаться как можно лучше обосновать то или иное понятие. Между прочим, еще Токвиль с пророческой проницательностью предрекает: недалек день, когда подобная духовная близорукость станет явлением обычным и рас-

пространенным. «Les peuples démocratiques aiment passionnément les termes génériques et les mots abstraits, parce que ces expressions agrandissent la pensée et permettent de renfermer en peu d'espace beaucoup d'objets, aident le travail de l'intelligence... Les hommes qui habitent les pays démocratiques ont donc souvent des pensées vacillantes; il leur faut des expressions très-larges pour les renfermer»*, — пишет он, и вы согласитесь, что *демократические* означает здесь просто *современные*¹⁴. Этот классический рационалист предвидел время, когда мышление перестанет опираться на разум.

Именно так и возникают исторические сочинения дилетантов. Все в них сделано как будто бы по правилам: факты упорядочены, некоторая свобода связей сохранена, — но в обобщениях и построениях присутствует столько небрежности и произвола, что букет того и гляди развалится. Отдадим, однако, должное этим авторам: сами они вовсе не гибриды, Уэллс и ван Лоон руководствовались честными историческими побуждениями. Но рядом с отчаявшимся профессионалом и жизнерадостным дилетантом выступает третье лицо — третий фактор упомянутого процесса — современный издатель.

Сегодняшний издатель, хоть он и является по самому характеру своей деятельности важнейшим двигателем культуры, поневоле должен проявлять помимо осмотрительности еще и напористость и упрямство, подобно быку из пословицы. Чтобы обслуживать общество, которое в нем нуждается, он должен уметь разбираться не только в вопросах духовных, но так же хорошо ориентироваться и в вопро-

* Демократические народы обожают родовые термины и абстрактные понятия, ибо эти выражения придают мысли масштабность, позволяют заключить в небольшое пространство множество предметов и облегчают тем самым работу ума... Поэтому люди, живущие в демократических странах, часто отличаются нерешительностью мысли; чтобы выразить свою мысль, им нужны очень широкие понятия (франц.), — прим. издателя.

сах материальных. Если он упустит из виду один из этих двух моментов, то его продукция будет непригодной, не принесет никаких культурных плодов. Таким образом, издателю известно о существовании острого голода на историческую продукцию, без которой культура обойтись не может. Но он знает также, что читатель становится все менее сосредоточенным, а пристрастие его к развлечениям постоянно растет. Издатель знает, что в так называемом демократическом, нивелированном обществе его задача состоит в том, чтобы удовлетворить спрос самого широкого круга читателей, численностью намного превосходящего круг любителей истории в прежние времена. Издателю легче привлечь массового читателя, если, учтя особенности его вкуса и уровень культурных запросов, книгопродавец сумеет не только угодить покупателю, но и польстить ему. К особенностям вкуса массового читателя относятся следующие: отвращение к тому, что напоминает школу, отчетливая потребность в эмоциональности, жажда острых ощущений и ярких впечатлений, подсознательное тяготение ко всему личному, субъективному и, наконец, явная склонность к философской тенденциозности. Нет необходимости в том, чтобы издатель прямо советовал писателю учитывать все эти особенности. Писателю они присущи и самому. Чем более он восприимчив к общественным веяниям, чем лучше он улавливает умонастроения и вкусы публики, тем большим успехом он пользуется у издателей. Вот что предписывает нынешняя культура произведениям, предназначенным для того, чтобы превратить историческую науку в общедоступное *Bildung**: поменьше учености, побольше ярких красок и сцен, будоражащих фантазию, — и чтобы было ясно, что думает по поводу описываемых событий сам автор.

Вот так и возникает промежуточный продукт, который можно назвать литературной историей или, еще точнее, исторической беллетристикой. Ибо по сути дела это белле-

* образование (нем.), — прим. издателя.

тристика, а история лишь пристегнута к ней. Нынешняя историческая беллетристика существенно отличается от более старых форм, таких как исторический роман или историческая драма. Исторический роман ни на что не претендует, это чисто литературное произведение, только материал почерпнут из истории. Стремление к известной степени исторической точности может принести только пользу всему произведению в целом, но это не является самоцелью. Современная форма, напротив, выдает себя за историю, делая при этом маленькую оговорку: мол, речь идет, конечно же, не о той истории, которой занимаются господа ученые, наша история, дескать, гораздо лучше.

В продукции этой есть какая-то недоброкачественность. Определить ее ценность можно довольно легко, если исходить из одного совершенно конкретного критерия, который мы постоянно выдвигаем на первый план: ощущается ли в этой продукции искреннее стремление автора максимально приблизиться к *правде*, подойти к ней настолько близко, насколько это под силу только науке. Если писатель делает выбор в пользу той формулы, согласно которой история есть *Sinngebung des Sinnlosen**, он уже не удовлетворяет нашему требованию. До тех пор, пока важнейшей задачей истории остается *Sinndeutung des Sinnvollen***, сохраняет силу критерий, гласящий, что труд не может именоваться историческим, если он не продиктован потребностью воссоздать совершенно правдивую картину нашего прошлого.

Это заставляет нас проводить качественное различие между двумя формами современных литературных сочинений на исторические темы. Первую и самую достойную я бы назвал назидательно-историческим жанром. Стремление к истине здесь совершенно искреннее, с той оговоркой, что ему свойственна скорее эстетически-религиозная, чем научная, направленность.

* придание смысла бессмысленному (нем.), — прим. издателя.

** истолкование глубоко скрытого смысла (нем.), — прим. издателя.

Общественные устремления, приводившие во времена всевластия религии к возникновению групп святош и пиетистов, в современном обществе среди образованных слоев переместились отчасти из области религии в область искусства и литературы. Множество *благочестивых душ* (понимаемых здесь как психологический тип), живут теперь исключительно эстетической пищей. Не случайно, что в стране Виндесхайма литературная и художественная критика так легко приобретает характер пиетизма, превращаясь в своего рода *новое благочестие* (что звучит, быть может, слишком похоже на *Cent nouvelles nouvelles**). Нетрудно обнаружить здесь многие духовные, моральные и социальные черты, которые во многом были присущи еще приверженцам школы Виндесхайма. Взаимное восхищение, кропотливый, изощренный анализ чувств, ограниченность духовного горизонта, — все это отнюдь не чуждо современной литературной критике. В такой атмосфере весьма уместна историческая назидательная книга. Она служит смутной потребности эмоционального постижения искусства и мудрости прежних веков. Как правило, такие книги написаны в проповедническом духе. Переоценивая эмоциональную нагруженность всего, о чем заходит речь, автор интерпретирует застывшие исторические фигуры в соответствии с потребностью в наставлении. Он наслаждается всякими *измами*, о которых имеет весьма смутное представление. Он чувствует себя знатоком человеческих душ, которому открыты заветные тайны святых, мудрецов и героев. Его не устраивает художник, создающий свои шедевры весело насвистывая — такому художнику автор нарочно придумывает трагические коллизии и душевные потрясения, якобы имевшие место в его жизни.

Именно здесь обнаруживается сближение подобных сочинений с чисто романтическими. Остановимся чуть по-

* Сто новых новелл (франц.); перифраз названия флорентийского сборника XIV века *Сто старинных новелл*, — прим. издателя.

дробнее на этой своеобразной особенности нашего времени — на пристрастии ко всевозможным ужасам. В известном смысле мы видим здесь повторение сентиментализма XVIII века, но в существенно измененной форме. Прежний сентиментализм ощущал свою тесную связь с прославлением добродетели. Он часто балансировал между страстью и добродетелью, нередко рискуя утратить это зыбкое равновесие. Сегодня такая необходимость отпала. Одной только страсти или того, что за нее выдается, оказывается достаточно. Теперь при любом художественном воспроизведении действительности, будь то в слове или образе (я говорю здесь о литературе в целом), элемент страсти обязательно следует раздуть до невероятных размеров. Нормы морали уже нельзя превозносить ни в коем случае. Самые благодетельные авторы создают себе славу современного писателя, воспевая безнравственность. Это прославление безнравственности есть не что иное как форма культурного лицемерия, каковою прежде была и показная ханжеская добродетель.

Любое слишком сильное увлечение бурными эмоциями и страстями произрастает на почве плебейского состояния духа, распространяющегося на протяжении XVIII века в литературной и культурной среде. Если слово *плебейский* освободить от презрительного оттенка, то слово *демократический* можно сохранить для области политики и общественной жизни, а в сфере культуры понятию *аристократический* противопоставить понятие *плебейский*, включив в него и значение *буржуазный*. Аристократическая культура не выставляет напоказ своих эмоций. Она всегда остается строгой и сдержанной в своих проявлениях. В целом ее позицию можно назвать стоической. Чтобы быть сильнее, она хочет и должна оставаться суровой и хладнокровной, или, самое большее, допускать выражение чувств и настроений только в стилизованных формах. Эрнест Сейер прекрасно показал это в целом ряде работ¹⁵.

Народу же стоицизм был во все времена чужд. Присущие народной душе чрезмерная слезливость и необузданная эмоциональность легко могут прорвать любую плотину и

смести на своем пути решительно все, включая и дух высших классов. В лице Руссо, этого *le plébéien amer**, как его называет Фаге, позиция, противоположная стоицизму, одерживает окончательную победу. Романтизм вступает в свои права; с ним приходит бесстыдный интерес к гримасам любви и ненависти, которому предстояло в наши дни найти поистине необузданное воплощение на экране. От показа всяких ужасов в литературе до разговоров двух старушек на нашей улице о чьей-то ужасной болезни пролегает весьма недолгий путь.

История тоже претерпевает демократизацию, но она должна оставаться стоической. Жюль Лафорг пишет в одном из своих писем, что видит во всей истории одну только бесконечную череду страданий. Но он был поэтом. Если бы история поддавалась порыву сострадать всем горестям мира, она бы утратила способность выполнять свою задачу.

Строгость, хладнокровие и известная сдержанность при рассмотрении глубочайших движений души, обязательные для настоящих исторических сочинений, нынешним читателям уже не по вкусу. Возникает второй жанр исторической беллетристики — *vies romancées*** — ставший в последние годы модным во всем мире. Жизнеописания появляются обычно сериями, под тем или иным общим названием. В этом видна та роль, которую играют здесь интересы книгоиздателя. Существует большой спрос на некую разновидность современных *vitae****, основанных на изрядном знании источников и якобы задуманных как настоящие исторические сочинения, но с подразумеваемой оговоркой, что история будет расцвечена и приправлена для удовлетворения чисто литературного интереса. Если писатель по натуре строг, то спрос порождает произведения лишь немного выходящие за рамки истории, — примером чему может служить

* печальный плебей (франц.), — прим. издателя.

** романизированные жизнеописания (франц.), — прим. издателя.

*** жития (святых) (лат.), — прим. издателя.

Дизраэли Андре Моруа. В других случаях литературное начало доминирует полностью, как в *Жанне д'Арк* Жозефа Дельтея. Вдруг становится знаменит на весь мир Эмиль Людвиг. В. Хаузенштайн рассказывает нам все супружеские тайны Рембрандта и Саскии. Год назад нидерландская литература обогатилась примечательным образцом этого жанра, созданным Феликсом Тиммермансом: *Питер Брейгель, как я учуял тебя по твоим работам!* Знаменитый писатель использует две новинки: названием книги служит у него обращение к герою, а в основу истории положено обоняние (последнее, впрочем, делалось и до него).

Еще выразительнее тот факт, что величайший знаток французской истории XV века, Пьер Шампион, после своих превосходных работ о Шарле Орлеанском, Франсуа Вийоне, после *Histoire poétique du XV-ème siècle** почувствовал желание написать своего *Людовика XI* в жанре *vie romanesque*, стремясь к чисто литературному эффекту.

Человек, по-настоящему любящий историю, будь то ученый академического склада или просто образованный читатель, относится к этому жанру отрицательно по той же самой причине, по которой истинный знаток вин отвергает вино, одобренное пряностями. Он чувствует в нем некую подделку. Никакой литературный эффект на свете не заменит для него чистого и строгого вкуса истории. Он не требует от истории, чтобы она непременно была сухой, но сочтет в тысячу раз менее приемлемой историю подслащенную. Чтобы избавиться от привкуса, оставляемого гибридным жанром, достаточно первого попавшегося подлинного исторического документа: хроники или судебного решения, нотариального акта, письма или резолюции.

Историк-беллетрист возразит: но разве вы, историки-исследователи, не признаете сами явно субъективного элемента в каждом шаге исторического познания — в постановке вопроса, в выборе и сортировке материала, в интерпрета-

* Поэтическая история XV века (франц.), — прим. издателя.

ции, классификации и группировке установленных данных? Чем же моя работа отличается от вашей кроме большей живости и изобретательности фантазии, необходимой и вам тоже? — Ответ таков: различие заключается в духовной установке, из которой родилось сочинение. Возьмем один из лучших образцов отвергаемого мною жанра, книгу Ги де Пуртале *Жизнь Листа*, первую в серии *Vie des hommes illustres**. С первых же слов читатель видит, что перед ним литература, а не история. Автор смело описывает такие стороны минувшей действительности, о которых историк только строит предположения, наоборот, все то, что историк решился бы описать, тонет здесь в литературной образности. Только совершенно искренняя потребность разобраться в прошлом как можно лучше и быть как можно более объективным делает ваш труд историей. Вдохновение, заставляющее вас высказать то или иное суждение, может основываться только на твердой убежденности: вот так оно и было. Но едва вы ставите это вдохновение на службу роману, то есть форме, основанием которой является художественное воображение, по-прежнему оставаясь при мысли, что пишете сочинение историческое, вы тотчас оскверняете священный миг исторического творчества. Вы отвергаете форму познания, свойственную культуре, в которой вы живете. Вы душисте у добросовестного читателя подлинное чувство истории¹⁶.

Четкие границы здесь провести невозможно. Это вопрос совести, смирения и покорности. Если верно то, что Гете сказал Эккерману: «Alle im Rückschreiten und in der Auflösung begriffenen Epochen sind subjektiv, dagegen aber haben alle vorschreitende Epochen eine objektive Richtung»**, то наше время должно спросить себя, к чему оно пришло. «Gewiss

* *Жизнь замечательных людей* (франц.), — прим. издателя.

** «Все эпохи упадка и разложения субъективны, тогда как все прогрессивные эпохи устремлены к объективности» (нем.), — прим. издателя.

nicht zufällig, — говорит Потакер, — das Zurücktreten des historischen Gewissens im letzten Jahrzehnt».*¹⁷

У меня в ушах еще звучат слова, которыми Эрнст Трельч заключил свое выступление в Лейдене в 1919 году. Он говорил о том, чего более всего недостает для выздоровления нашему больному времени. Главным здесь он назвал почтение, новое почтение ко всему, что важнее и выше, чем мы сами. В те же дни или немного раньше он писал по поводу шпенглеровской кометы на небосклоне духовной жизни: «Es wäre lediglich allerschwerster Verlust, wenn wir den mühsam errungenen kritischen Rationalismus, das philologische Element, die empirische Exaktheit und nüchterne Kausalitätsforschung einfach preisgeben wollten, um sie dann später mühsam wieder erobern zu müssen, oder, wenn dazu Fähigkeit oder Willen fehlen sollten, in einer erst geistreichen und dann verworrenen Barbarei unterzugehen.»**¹⁸

Карлейль считал основной чертой своих героев их совершенную искренность, их глубочайшую честность в отношении к себе и к миру. Не каждый человек может стать героем, но каждый может стремиться к такой честности.

Задача исторической науки — противостоять всему тому, что смещает равновесие сил в пользу литературы: противостоять свойственной публике духовной лени, ее приверженности моде — и таланту авторов популярных книг. В этом деле нынешние времена для науки неблагоприятны. Еще неизвестно, остается ли в здании современной культур-

* Деградация исторической совести в последнее десятилетие — отнюдь не случайность (нем.), — прим. издателя.

** Было бы большой потерей, если бы мы выбросили за борт с таким трудом завоеванный критический рационализм, отказались от филологического анализа, эмпирической точности и трезвого исследования причинности, — чтобы затем оказаться перед необходимостью мучительно добывать все это заново или, если бы для этого у нас не хватило способности и воли, захлебнуться в сперва талантливом, а затем хаотическом варварстве (нем.), — прим. издателя.

ной жизни место для исторической науки, которая главенствует в созидании культуры над литературным восприятием прошлого. Развитие основных групп общества идет в сторону демократизации, и в этом кроется большая опасность. Профессиональная наука может существовать лишь для немногих, она всегда аристократична. Литература, а вместе с нею и популярная наука, существуют и должны существовать для многих. Современная культура вынуждена быть демократичной, в противном случае она вообще исчезнет. В наше время невозможно поддерживать прежнее состояние, при котором пропасть, разделявшая возвышенный *Bildung* (где история и литература еще были связаны друг с другом) и наивную духовную жизнь масс, соответствовала пропасти между господами и простым людом. Но тревожный вопрос, которым Ростовцев завершает свою работу *Social and Economic History of the Roman Empire*^{*}, остается без ответа: «The ultimate problem remains like a ghost, ever present and un-laid: Is it possible to extend a higher civilization to the lower classes without debasing its standard and diluting its quality to the vanishing point? Is not every civilization bound to decay as soon as it begins to penetrate the masses?»^{**}

^{*} Социально-экономическая история Римской империи (англ.), — прим. издателя.

^{**} Основная проблема остается подобием вечно блуждающей и не находящей покоя тени: можно ли приобщить низшие классы к высокой цивилизации, не снижая ее уровня и не рискуя опошлить культуру до ее полного исчезновения? Не обречена ли всякая цивилизация на упадок, как только она начинает проникать в массы? (англ.) — прим. издателя.

История культуры видит свою главную задачу в том, чтобы понять и описать морфологию разных культур, прослеживая процесс становления и существования каждой из них в его индивидуальных особенностях.

1. *Историческое чувство.* Здесь следует поочередно рассмотреть три противопоставления, связанных с природой и задачей работы историка. Первое удобнее всего представить в форме вопроса: доминирует ли в занятиях историей момент вживания в историческое прошлое и воскрешения его в сознании, или преобладающим является момент обобщения и реконструкции? — Казалось бы, что тут спрашивать? Вопрос уже давным-давно решен. Когда теория познания в области гуманитарных наук обрела самостоятельность, верным был признан первый вариант ответа. Однако здесь все же следует еще уточнить некоторые представления.

Когда историю надо было освободить из-под господства естественных наук, считавших, что точность — единственный критерий истинной науки и потому предъявлявших к другим областям знания соответствующие требования (применительно к истории их поборником выступал Лампрехт), было особенно важно, чтобы историки ясно сознавали, чем же именно занимается история как наука. В самом деле, тогда они часто задавались этим вопросом (случается такое и теперь) только задним числом. Взаимопонимание между учеными предполагало наличие отчетливых представлений о действительной природе исторических занятий. Лампрехт выдвинул требование, согласно которому изучение истории должно сводиться к разработке общих понятий, вбирающих в себя все частные факты, которые теряют при этом свое самостоятельное значение. Лишь в таком случае, полагал он, историю можно считать наукой. Если бы она была не более чем *Anschaungen**, довольствуясь изображением событий,

* воззрения (нем.), — прим. издателя.

она не заслуживала бы такого названия. Было ясно, что если выдвинутые Лампрехтом требования считать обязательными, то исторической науки никогда не существовало вовсе. Все, что до сих пор было продумано и описано историками-мыслителями, возникло совсем иначе. Да и само утверждение, будто только знание и понимание общего ведут к науке, было положением бездоказательным. Виндельбанд и Риккерт продемонстрировали, что знание одного только частного, закрепляемое лишь в представлениях, может быть наукой, и заложили тем самым твердую основу для теории познания в гуманитарных науках. Выступив против Лампрехта и его понятийно-конструктивного исследования истории, его противники создали образ исторической деятельности, какую она была на самом деле, показав, что, только будучи таковой, она и могла создать свои лучшие произведения. При этом на первый план выдвигалась наглядность истории, возможность увидеть ее в своем воображении. Если не ошибаясь, при выработке такого понимания истории они ориентировались преимущественно (да и как могло быть иначе?) на классическую фигуру Ранке. Дух Ранке, блуждающий по бесконечным коридорам замков и дворцов, по извилистым тропам дипломатической переписки, близко знакомящийся с действующими лицами, которых он тщательно ощупывал и разглядывал, — этот дух олицетворял для них образ историка. Отсюда можно видеть, что в их представлении об историческом труде акцент приходится на *Nachfühlen*, *Nacherleben**. Ведь так, по-видимому, и работал Ранке; все человеческие судьбы, все события он заново прожил и пережил в своем воображении.

«Der Historiker will die Vergangenheit uns wieder gegenwärtigen, und dies kann er nur dadurch tun, dass er es uns ermöglicht, das einmalige Geschehen in seinem individuellen Verlauf gewissermassen nachzuerleben... Er wird... den Hörer

* сопереживание (нем.), — прим. издателя.

oder Leser immer auffordern, durch seine Einbildungskraft sich ein Stück Wirklichkeit anschaulich vorzustellen.»* Так утверждал Риккерт в своей знаменитой речи *Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft*** в 1894 году¹⁹. А Виндельбанд в то же время писал следующее: «So fein gesponnen auch die begriffliche Arbeit sein mag, deren die historische Kritik beim Verarbeiten der Ueberlieferung bedarf, ihr letztes Ziel ist doch stets, aus der Masse des Stoffes die wahre Gestalt des Vergangenen zu lebensvoller Deutlichkeit herauszuarbeiten; und was sie liefert, das sind Bilder von Menschen und Menschenleben mit dem ganzen Reichtum ihrer eigenartigen Ausgestaltungen, aufbewahrt in ihrer vollen individuellen Lebendigkeit.»***²⁰

Не будем останавливаться на вопросе о том, не исповедуют ли здесь оба историка в известной мере исторический реализм, который современная теория познания сбрасывает со счетов. История не может и не хочет воспроизводить смутное историческое прошлое, и даже не претендует больше на то, чтобы создавать некий *Gestalt***** прошлого, который, исключая все прочие возможные образы, может называться

* Историк хочет сделать нас современниками прошлого, и достичь этого он может лишь тем, что дает нам возможность в известной мере заново пережить некогда случившееся в его неповторимом проявлении... Силою своего воображения он заставит слушателя или читателя воочию представить себе фрагмент действительности (нем.), — прим. издателя.

** Наука о культуре и естествознание (нем.), — прим. издателя.

*** Как бы тщательно ни была проведена работа по выработке понятий, — а историческая критика нуждается в такой работе для анализа предания, — ее конечная цель все же состоит в том, чтобы извлечь из массы материала подлинный облик минувшего во всей его живой конкретности; и то, что она предлагает читателю, суть образы и картины людей и человеческой жизни во всем многообразии их индивидуальных проявлений, в полной мере сохранивших присущую им своеобразную жизненность (нем.), — прим. издателя.

**** облик (нем.), — прим. издателя.

единственно верным. Независимо от этого напрашивается вопрос: к какому количеству страниц произвольно взятого современного исторического сочинения эти слова Виндельбанда и Риккерта полностью применимы? Действительно ли намерения историка и воздействие его произведений на читателя отвечают их уверениям? На самом ли деле наша историческая *функция* состоит в том, чтобы оживить отрезок прошлого, увидеть образы людей и сами человеческие жизни?

Попробуем сформулировать этот вопрос с точки зрения неосуществленной возможности. Каким получился бы образ исторической функции, если бы это представление ориентировалось не на великие творения Ранке, а на работы Вайтца? Мне возражат: Вайтц здесь неподходящая параллель, ибо как *Verfassungshistoriker** имеет дело с историческими формами, по самой природе своей не поддающимися наблюдению и мысленному воскрешению. Но возьмем тогда работу общего характера, которая, независимо от того, согласен ли читатель с защищаемым в ней тезисом, признается всеми без возражений за образец современной научной истории. Я имею в виду *Историю Бельгии* Пиренна, особенно ее первые две части. Изображает ли автор человеческие жизни? Почти что нет. Описывает ли он сцены прошлого? Нет. Но вот настал черед утвердительных ответов. Возникают ли в нашем мозгу при чтении его книги образы? — Да. — Заставляет ли автор переживать описываемое? — Да. При чтении подобного сочинения действительно постоянно возникает ощущение собственной причастности прошлому, хоть книга и носит чисто научный характер.

Так мы подошли к сути вопроса. В понимании истории имеется очень важный элемент, который точнее всего можно назвать *историческим чувством*. Можно употребить также выражение *исторический контакт*. Словосочетание *историческое воображение* было бы слишком конкретным, равно

* историк конституций (нем), — прим. издателя.

как и *историческое видение*, ибо возникновение у читателя зрительного представления означало бы придание картине чрезмерной однозначности. Немецкое слово *Ahnung**, употребленное в этой связи уже Вильгельмом фон Гумбольдтом, было бы самым точным, если бы оно не использовалось слишком часто в другом значении. Этот почти необъяснимый контакт с прошлым есть погружение в его атмосферу, один из данных человеку путей выхода за пределы собственного я и причащения истины. Описываемое историческое чувство чем-то сродни наслаждению от искусства, религиозному переживанию, трепету перед силами природы и метафизическому узнаванию. Объект этого чувства — не люди в их индивидуальном облике, не людские жизни и людские мысли, даже когда нам кажется, что мы смогли в них проникнуть. Едва ли слово *образ* годится для обозначения происходящего в нашем сознании. Если тут вообще можно говорить о форме, то форма эта сложна и неотчетлива: некое *угадывание* улиц, домов, полей, звуков, цветов, а затем и людей с их сложными побуждениями. Подобный контакт с прошлым, сопровождаемый верой в его подлинность, может быть достигнут с помощью строки из старинной грамоты или хроники, какого-либо изображения, а то и нескольких звуков старинной песни. Элемент этот невозможно специально вложить в историческое сочинение с помощью каких-то определенных слов. Он присутствует не в тексте, а где-то за книгой. Сам читатель несет в себе этот элемент — несет его навстречу автору как отклик на обращенный к нему, читателю, призыв.

Если именно этот элемент в понимании истории часто называют словом *Nacherleben***, то такое использование термина никуда не годится. *Nacherleben* обозначает слишком конкретный психологический процесс. Историческое чувство человек испытывает не как повторное переживание

* предчувствие, — прим. издателя.

** сопереживание (нем.), — прим. издателя.

прошлого, а как понимание, родственное пониманию музыки, или, точнее сказать, пониманию мира через музыку. Повторное переживание как способ познания подразумевает более или менее продолжительное ощущение, постоянно сопровождающее процесс чтения или мышления. А описываемое чувство — видение, контакт, *Ahnung* — ограничивается всего лишь моментами особой духовной ясности, внезапного просветления духа.

Это историческое чувство, по-видимому, настолько существенно, что его часто считают единственным подлинным моментом постижения истории. На могиле Мишле начертаны его собственные слова: «*L'histoire c'est une résurrection.*»* Тэн говорил: «*L'histoire c'est à peu près voir les hommes d'autrefois.*»** В своей неопределенности оба эти высказывания дают даже больше, чем обоснованнейшие дефиниции, приводимые теорией познания. Все дело именно в *à peu près****. Это воскресение, происходящее в состоянии некоего сна, видение неуловимых фигур, слышание полупонятных слов.

В ценности исторического чувства, которое становится жизненной необходимостью, проистекающей из стремления к контакту с прошлым, заключено восстановление в правах *antiquarisches Interesse***** в свое время с презрением отброшенного Ницше. Самый скромный труд на ниве истории — занятия генеалогией и геральдикой, работа дилетанта, изучающего историю своего края, — может возвыситься и облагородиться вследствие такого состояния духа. Если исследователь или читатель, знакомящийся с его сочинением, испытает подобное слияние с описываемыми событиями, это значит, что его работа уже сама по себе имеет определен-

* «История — это воскресение» (франц.), — прим. издателя.

** «история — это почти то же самое, как если бы вы увидели людей прошлого» (франц.), — прим. издателя.

*** почти (франц.), — прим. издателя.

**** антикварный интерес (нем.), — прим. издателя.

ную ценность.

Мы уже отметили, что функция, не очень удачно называемая повторным переживанием, играет, несомненно, важную роль, но проявляется не постоянно, а лишь в определенных условиях. В ней сосредоточена только часть исторического понимания. Понимание и изложение истории подразумевает нечто большее, нежели просто умение испытать на себе или внушить другим историческое чувство. Если взять за точку отсчета настоящую современную научную историю самой высокой пробы, какой она выходит из-под пера своих лучших представителей, — к имени Пиренна добавим имена Майнеке, Тревельяна и еще десятка два других имен, — то бросается в глаза, что основная часть их работы состоит не в том, чтобы улавливать настроения, а в том, чтобы понимать взаимосвязи. Если проанализировать определенное количество страниц, написанных современными историками, или же Ранке или даже Мишле, то обнаружится, что авторы не часто стремятся заставить читателей переживать прошлое, но постоянно стараются помочь в нем разобраться, облекая его в определенные формы. Наглядность сама по себе вовсе не занимает того места, которое ей порою отводят в противовес понятийности. Каждое историческое сочинение конструирует взаимосвязи, строит формы, в которых может быть понято прошлое. История создает ощущение понимания в основном путем глубоко осмысленной классификации фактов, и лишь в ограниченном смысле — путем установления причинно-следственных связей. Знания, которые мы черпаем из истории, дают ответ на вопросы *что?* и *как?*, и лишь в очень редких случаях, скорее в виде исключения, на вопросы *из-за чего?* и *почему?*, хотя и исследователь, и читатель обычно пребывают в иллюзии, будто важен ответ именно на эти последние вопросы.

2. *Психология или морфология?* Если признать, что смысл истории постигается путем наблюдения форм, которые возникают в результате сплетения фактов из прошлого

перед нашим мысленным взором, то сразу же возникает вопрос: не следует ли эту морфологию прошлого, которой хочет и должна быть история, назвать психологией прошлого? И здесь тоже авторитет Лампрехта, считавшего, что задача истории — социальная психология, оказывал влияние на большее число историков (притом в течение длительного времени), чем нашлось читателей у последних частей его *Deutsche Geschichte**, задуманных как применение указанной точки зрения на практике.

На первый взгляд такой подход представляется вполне приемлемым: кто проникнет в психологию действующих лиц и вдобавок сумеет охватить духовную жизнь целой эпохи, тот уже развернет свиток истории. Однако совсем нетрудно показать, что на деле такой подход не работает. Историческая наука, какой она выросла и какой она должна расти дальше, никогда не удовлетворяла и никогда не сможет удовлетворить подобным требованиям исторической психологии. Если бы я смог проникнуть в душу Филиппа Красивого, Бонифация VIII, Ногаре и всех других участников драмы в Ананьи, и если сумел бы сложить все то, что увидел в их душах, в единую картину взаимосвязанных событий, то и тогда я ни на йоту не приблизился бы к истине, и не имел бы оснований утверждать, что восстановил историю того бурного переворота, который произошел в первые годы XIV века. Сами события гремят раскатами грома, заглушая всю мою психологию, которая в лучшем случае может показать, как люди реагировали на свою судьбу, как у них возникали те или иные импульсы, но которая будет бессильна предопределить хотя бы одно из случившихся тогда событий.

Если вместо проникновения в психологию отдельных персонажей постараться постичь психологию массы, толпы, т.е. обратиться к социальной психологии, то едва ли это намного приблизит нас к истинному пониманию истории, скорее наоборот. Предположим, что окажется возможным опи-

* Немецкая история (нем.), — прим. издателя.

сать социальную психологию жителей Англии в XII веке (хотя на самом деле мне представляется, что эту психологию невозможно не только уяснить, но и вообразить). Полученное описание не объяснит нам появления Бекета, Ричарда, или какой-либо другой яркой фигуры, повлиявшей на судьбу Англии.

Мне могут возразить: не является ли каждый опыт психологического постижения (независимо от того, направлен он на одного человека или на группу людей), уже сам по себе морфологией, стремлением уловить форму? Не представляет ли собой человек по имени Томас Бекет *форму* — в том прямом смысле слова, в каком этот термин используют Аристотель и Фома Аквинский и в каком его начинают понимать в наше время? Когда историк литературы пытается понять поэта, не состоит ли его задача в изучении психологии, которая и является морфологией? И не относится ли это в той же мере и к историку, описывающему политического деятеля?

Так это, несомненно, и есть. Тезис, согласно которому история есть в принципе наука о формах, морфология, а не психология, отнюдь не означает, что историк совсем не должен заниматься психологией. Стоит нам только воспринять человеческую жизнь и личность или определенную совокупность множества человеческих жизней как некую историческую форму, в которой каждый отрезок прошлого уяснен в его действительном течении, как мнимое противоречие исчезнет. Психологическое постижение может быть понято как одна из составных исторического формообразования, но только в том случае, если мы отчетливо сознаем, что историческая постановка вопросов в корне отличается от биологической: история рассматривает явление не как организм, но только как событие. Организм истории, если о таком вообще можно говорить, находится вне человеческой психологии. Утверждение Попа «The proper study of Man-kind is Man»* с антропологической точки зрения верно, но с

* «Подлинный предмет истории человечества — сам человек» (англ.),
— прим. издателя.

исторической обманчиво. Для истории важно не то, что определяет внутреннее единство человека, и не психосоматические основы его поведения, но то, что объединяет людей друг с другом, отношения между людьми. Американское понятие *behaviour* в его специфическом социальном значении, т.е. поведение как ответ людей на воздействие внешнего мира, может, если его употреблять с осторожностью, сослужить службу и историку.

Различие между стремлением заниматься историей и стремлением заниматься психологией подтверждается мощным *argumentum e silentio**. Не будь этого различия, история давно бы уже вступила в тесный союз с научной психологией. Однако этого не произошло. Отношения между двумя дисциплинами дружественные, но не очень оживленные. Бывает ли так, что историк, прежде чем сделать окончательные выводы, сверяет свои результаты с результатами научной психологии? История дала материал для нескольких опытов исторической психологии, исследуемой школой Хейманса, причем на саму историю это не оказало никакого влияния. Я позволю себе не говорить здесь о пригодности психоаналитических догматов к истории. Исследование Э. Кречмера *Körperbau und Charakter*** предполагает возможность дальнейшего сближения между психологией и историей. Любой историк прочитает эту блестящую книгу с огромной пользой для себя как ученого. Однако именно в тех местах, где автор приводит в качестве примеров образцы применения своих схем к историческим личностям, вера читателя в их плодотворность несколько ослабевает. Сильная сторона книги Кречмера сводится к морфологической ценности его системы, которая может оказаться весьма плодотворной.

* довод молчания (доказательством служит уже то, что об этом молчат) (лат.), — прим. издателя.

** *Телосложение и характер* (нем.), — прим. издателя.

История есть истолкование того значения, которое имеет для нас прошлое. В природе истории как средства истолкования значения прошлого уже заложен ее формообразующий характер. Чтобы понять отрезок прошлого в зеркале собственной культуры, историк должен всегда и во всем видеть ее формы и функции. Даже и там, где история вовсе не ставит перед собою морфологических задач, она неизменно оперирует понятиями формы и функции. Важно только, чтобы стремление к знаниям носило исторический характер, а исследователь не был бы полным ослом, — таково единственное условие. Любая историческая монография, если только в ней содержится правильная постановка вопроса, отвечает на вопрос исторической морфологии. Но горе, когда целые школы совершенно бездумно окунают поварешку в кашу исторических сведений! Там, где не ищут определенной формы и функции, там возникает либо аморфная смесь зерен и плевел, либо картинка риторического или романтического свойства.

Исключая простейшие факты, каждое событие, допускающее постижение с помощью доступных истории средств, предполагает придание формы материалу прошлого. Мысль историка соединяет ряд известных моментов из хаотичной действительности, составляя из них понятие. Очень часто создание формы происходит уже в *обычной жизни*, вне какой бы то ни было исторической работы. В том факте, что история имеет дело с материалом спонтанной мысли, заключена ее неразрывная связь с самой жизнью. Историческое мышление есть не более чем продолжение обычной работы ума. Это не более чем развитие самого общего мышления, движения по тропе, ведущей от крайнего номинализма действительности — к идее. Уже в самых начальных размышлениях об истории наличествуют идеи, дающие форму прошлому. Для последовательного номиналиста такие понятия, как, скажем, вторая палата парламента или мировая война не существуют в реальности точно так же, как и капитализм или вера.

В частности, исторические формы политической жизни уже содержатся в жизни как таковой. Политическая история сама придает себе присущие ей формы: это государственное устройство, мир, война, династия, само государство. В этом факте, неотделимом от огромного значения самих перечисленных форм, и заключен фундаментальный характер политической истории. За ней сохраняется некое первенство, потому что она представляет собою несомненно морфологию общества в самом чистом виде.

Уже в области экономической истории принятые термины оказываются скорее продуктами научного постижения явлений, чем существенно отличаются от политических терминов, просто взятых из жизни. Это в еще большей мере относится к терминам истории культуры (если, конечно, не говорить об обычаях и нравах). Настоящие вопросы истории культуры всегда представляют собою проблемы формы, структуры и функций общественных явлений. Отсюда вовсе не следует, что история культуры должна занять подчиненное положение по отношению к социологии. История культуры рассматривает явления в их самодостаточной единичности, в то время как для социологии они не более чем *paradigmata**. Историк культуры отличается от социолога тем, что он отказался от задачи устанавливать на основе явлений универсальные правила для познания общества. Разработанные им самим формы он не только очерчивает линией, но и расцветивает для большей наглядности яркими красками, освещая все гипнотическим светом, в котором возникают причудливые видения. Великие историки культуры, независимо от принятых ими для себя установок, всегда были историческими морфологами, людьми, ведущими поиски форм жизни, мысли, обычая, знания, искусства. Чем отчетливее они определяли эти формы, тем большего добивались успеха. На общий вопрос можно получить только общий ответ.

* парадигмы, образцы (греч.), — прим. издателя.

История Ренессанса даже под пером Буркхардта остается чем-то расплывчатым, потому что Ренессанс не есть отчетливо понятая форма и не может быть таковой. Общий тезис Буркхардта — собственно говоря, антитезис относительно идей XIX века, почему он и стал понятным читателям лишь к концу минувшего столетия, — теперь уже также отжил свой век. Но все те отдельные формы, которые Буркхардт как каменотес тщательно отделявал и потом использовал для своей постройки, все его главы о славе, насмешке, юморе, семейной жизни и т.д. неизменно сохраняют свое значение бесценных шедевров. То же происходит и с Виолет-ле-Дюком: в общих положениях он, возможно, устарел, а в некоторых частностях, вероятно, был и неточен, — но все же он навсегда останется непревзойденным мастером благодаря своему несравненному чувству формы. Почти не устаревшим можно назвать сочинение их третьего современника, к сожалению, слишком мало известного за пределами Англии, — Лесли Стивена. Он заслуживает большей известности уже для того, чтобы посрамить сонмы желторотых юнцов, утверждающих собственное превосходство путем огульного осуждения викторианской эпохи. Лесли Стивен не был склонен создавать сложные построения. В книге *English Thought in the Eighteenth Century** он воздерживается от каких бы то ни было тезисов и почти нигде не делает далеко идущих выводов. Именно благодаря этому его сочинение так мало пострадало от времени.

Представляется неслучайным, что почти все по-настоящему знаменитые историки культуры в XIX веке стояли несколько в стороне от потока тогдашней философской мысли. Русло этому потоку было подготовлено Огюстом Контом. Однако позитивизм не подходил для создания истории культуры. Едва ли кто-нибудь читает теперь Бакля. Напротив, такие умы как Буркхардт, Виолет-ле-Дюк и Лесли Стивен не нуждались ни в какой тщательно описанной тео-

* *Английская мысль восемнадцатого века* (англ.), — прим. издателя.

рии познания и потому ничуть не сомневались в том, что гуманитарные науки обладают самостоятельностью. Именно они-то и смогли указать тот путь, по которому мы и теперь еще продолжаем идти. Чтобы понимать историю культуры, надо признавать самостоятельность духа. Нынешнее время благоприятно для историка культуры, ибо только теперь у него есть твердая поддержка, позволяющая ему сохранить веру в свои силы. Если он познакомится с такими сочинениями как *Theorie des objektiven Geistes** Ганса Фрайера, *Wissenschaft, Bildung, Weltanschauung*** Теодора Литта и различными исследованиями Эриха Ротакера, он укрепитя в сознании того, что присущими его науке методами нащупывания истины действительно можно добраться до подлинного знания.

3. Морфология и мифология. Признав задачей истории в целом создание морфологии человеческого прошлого, мы вынуждены будем ответить на пугающий вопрос: если история культуры должна сама создавать большинство названий для тех форм, в которых она видит течение культурного процесса, то не грозит ли ей здесь опасность, именно: не выродится ли эта морфология в мифологию?

В качестве подзаголовка к *Untergang des Abendlandes**** Освальд Шпенглер употреблял слова *Morphologie der Weltgeschichte*****. Может быть, в будущем о Шпенглере скажут то же самое, что Майнеке однажды сказал мимоходом о Тэне²¹, причислив его к тем, кто «*durch starke Irrtümer mehr für die Wissenschaft geleistet haben als andere durch kleine Wahrheiten******». — Основанием для этого будут глубина

* Теория объективного духа (нем.), — прим. издателя.

** Наука, просвещение, мировоззрение (нем.), — прим. издателя.

*** Закат (Западной) Европы (нем.), — прим. издателя.

**** Морфология мировой истории (нем.), — прим. издателя.

***** «кто своими глубокими заблуждениями сделал для науки больше, чем другие — своими мелкими истинами» (нем.), — прим. издателя.

шпенглеровского взгляда, гениальное умение сочетать разнородные элементы, рассматривая их под одним углом зрения, его способность весьма жестко вносить ясность в наше беспорядочное историческое мышление, — но не система, которую он построил. По прошествии десяти лет его схема мировой истории напоминает недостроенный и заброшенный мавзолей. Искажения, односторонность, акробатическая симметрия его проекта делали это строение с самого начала непригодным для того, чтобы в нем жила история. Термины Шпенглера были кандалами, его классификация была карцером для исторической мысли. Как ни сказочно под его взглядом блестели в полутьме мозаики в его *Arabische Kultur**, но если бы ту же концепцию он распространил и на императорский Рим, и на юный Запад, и на умирающее язычество, и на расцветающее христианство, и на феномен ислама, то она, подобно тяжелому серому туману, полностью скрыла бы их от нашего взора. Фигура фаустоподобного человека совершенно исключала возможность постичь романскую культуру. Шпенглер, ненавидевший и не знавший Англию, не знакомый с Америкой, не понимавший, в конечном итоге, сущности столь могущественных основ общества как религия и государство, не замечавший и не хотевший замечать разделения культуры на слои и воздействия одной культуры на другую, — не мог не обмануть ожиданий. Однако главная ошибка его труда заключается не в пробелах в его знаниях и не в ограниченности его поля зрения, а в том, что он безоглядно вступил на путь, ведущий от морфологии к мифологии. Его человекоподобным культурным существам, которые, согласно метафоре всех времен, проходили через этапы юности, зрелости и старости, была уготована судьба, неминуемая для всех идолов.

Некоторые полагают, что если мышление в гуманитарных науках признается свободным, то создание исторических форм неизбежно ведет к мифотворчеству. Совсем недав-

* Арабская культура (нем.), — прим. издателя.

но Теодор Литт на немногих страницах мастерски показал необоснованность и недопустимость такой точки зрения²². Современный человек, творящий мифы, прекрасно знающий, что это мифы, или, точнее сказать, что его творения претендуют на то, чтобы быть мифами, нарушает верность духу своей культуры. Ибо нашей культуре присуща рассудочная форма знания — форма критической науки.

Антропоморфизм — самый большой враг гуманитарного мышления. Это кровный враг, рождающийся из самой жизни. Любой человеческий язык антропоморфен, он выражает мысль в образах, заимствованных из человеческой деятельности и окрашивает все абстрактные представления чувственным восприятием. Но задача гуманитарной науки как раз и заключается в осознании образности своего языка и в заботе о том, чтобы в метафору не закралась фантазия²³.

В каждом из нас живет старый Пуруша, из чьего тела ведийские боги создали весь мир, или его коллега из Эдды, великан Имир. Чтобы постичь какую-либо незнакомую действительность, мы вновь и вновь прибегаем к одному и тому же способу, именно: ставим на место этой действительности человека. История почти непрерывно выводит на сцену персонажей, олицетворяющих те или иные абстракции. Таковы Капитализм, Гуманизм, Революция и им подобные. В какой-то мере это неизбежно. Но чем откровеннее мыслитель признает самостоятельность духа, тем больше он должен остерегаться переупрощенной метафоры, которая облекает этот дух в маскарадный костюм. Такой примечательный философ культуры как Карл Йоль пишет²⁴: «Das Leben, wenn es sich steigern will, holt sich schon in den dafür veranlagten Ländern die dafür veranlagten Völker und Menschen. Mit dem Leuchtfackel der Erweckung durchschreitet der lebendige Geist der Geschichte die schlafende Erde und die träumende Menschenwelt, und beruft Heere und Helden zum Aufschwung für geistige wie für leibliche Ziele... Da rief der organisierende Weltgeist das Kulturleben zu einer neuen Wendung, und liess das zerrissene

Band wiederherstellen durch Rom usw...»* Это либо аллегория, либо риторика, в обоих случаях здесь кроется опасность.

«Der Entwicklungsgedanke hat notwendig die Tendenz der geistigen Bewegung einen objektiven Prozesscharakter zu verleihen. Der Gedanke einer List der Vernunft, d.h. einer Ueberlistung des handelnden Subjekts durch den objektiven Entwicklungsgang ist mit diesem Begriff notwendig gesetzt»**, — пишет Ротакер²⁵. — Если чистоту представления о развитии можно обрести только с помощью гегелевской мифической фигуры, то не будет ли лучше либо назвать этот бродячий мировой дух или хитрый Разум просто-напросто Богом, либо поискать других средств для прояснения истины? Тем самым мы пришли бы к примечательному выводу о том, что понятие развития может существовать только на строго теистической основе.

Однако сей благородный вывод, как правило, не делается, когда, как говорит Шпрангер, «den Komplexbegriff der Kultur so verwendet, als ob diese eine organische Substanz mit bloss biologischen Wachstumsgesetzen sei, oder gar ein mystisches Wesen darstelle, das gleich dem listigen Weltgeist Hegels über alle lebenden Subjekte hinweg seinen eigenen dämonischen

* «Когда жизнь хочет подняться на более высокую ступень, она находит такую возможность у предрасположенных к этому людей и народов. Подняв светильник пробуждения, живой дух истории шагает по спящей земле, по объятому снами миру людей, и зовет полки и героев восстать во имя духовных и плотских задач... И тогда организующий мировой дух устремил жизнь культуры к новому витку и воссоединил порванные связи посредством Рима и т. д.» (нем.), — прим. издателя.

** «Идея развития по необходимости имеет тенденцию придавать духовному движению характер объективного процесса; другими словами, это понятие предполагает, что ход объективного развития должен как бы перехитрить действующего субъекта» (нем.), — прим. издателя.

Gang gehe»*.²⁶ Здесь заключены глубочайшие метафизические мысли²⁷, однако мы покинули уже область исторической науки. Взгляд на земные исторические взаимосвязи тотчас каменеет в любом готовом антропоморфическом представлении. Молитва историка культуры должна была бы звучать так: ... и избави нас от антропоморфизма, аминь.

4. *Общая морфология или частная морфология?* Причина, по которой мысль закосневает, часто состоит в том, что историк для своей умственной деятельности застолбил слишком большую территорию. Он хочет окинуть взглядом большое целое, описать общую морфологию, еще недостаточно хорошо распознав состав частей. Вот и происходит то, что Токвиль так отчетливо предвидел в приведенной выше цитате. Возникает смутное и неотчетливое историческое понятие. В нем свободно объединено множество разнородных представлений. Возникшее целое можно удержать и выразить только в том случае, если мы облечем его в форму яркого образа. Чем крупнее структуры, которые человек хочет постичь, тем больше опасность того, что он постарается придать им гипостатичность.

Если же культурно-историческое понятие уже сформировалось только что описанным способом, то оно становится самостоятельной духовной силой и начинает господствовать над нашим разумом, всегда спешащим служить новым богам, которые сулят утешение. А сформировавшееся понятие, как и всякая сила, начинает расширять границы своих владений, захватывая чужие территории. Чем аморфнее понятие и чем неотчетливее выражающий его термин, тем больше это расширение сферы влияния напоминает по своему характеру процесс инфляции.

* «сложное понятие культуры используется так, как если бы культура была органической субстанцией, подчиненной чисто биологическим законам роста, или даже представляла собою некую мистическую сущность, которая, подобно хитроумному мировому духу Гегеля, совершает свой демонический путь поверх и мимо всех живых субъектов» (нем.), — прим. издателя.

Сейчас почти все наши общие термины в области истории культуры страдают в большей или меньшей степени от подобной инфляции. Слово *Ренессанс* поначалу имело если уж не четко очерченное, то по крайней мере положительное историческое, реальное значение. Оно отвечало жизненной потребности, поскольку в самом этом слове звучали чаяния того времени. Постепенно историки растянули это понятие в обе стороны: назад, в средние века, и вперед в новое время. Его перенесли на разные области жизни, где возникают сходные или якобы сходные явления. «Unsere wahre Renaissance, — говорит Герберт Сизарц, — *ersteht im achtzehnten Jahrhundert. Die Klassik ist die deutsche Hochrenaissance.*»* Переноса таким образом термин в другую область, его одновременно лишают какой-то частицы той четкости и полноты, что были присущи ему, когда он был связан с частным и единичным процессом в культуре, применительно к которому и возник.

Та же судьба, что постигла термин *Ренессанс*, постигла и термины *готика*, *средние века*, *барокко*. Похоже, что мы испытываем живую потребность в духовной разменной монете. Порою кажется, будто в нашем уме вместо догматизма и формализма, которые мы сумели перерасти, возникла новая форма определенной конфигурации. Мыслитель-гуманитарий имеет весьма опасное преимущество над естествоиспытателем: ему не нужны никакие эксперименты и вычисления для того, чтобы самому решить, не гонится ли он за призраком, когда утверждает, будто обнаружил новую форму или новое явление.

На нынешнем этапе у истории культуры более чем достаточно работы по выявлению частных форм исторической жизни. Ее задача — изучить частную морфологию, прежде чем перейти к общей. Сейчас еще нет нужды спешить с описанием целой культуры, существующей вокруг одного цен-

* Истинное наше возрождение начинается в восемнадцатом столетии. Классика — это вершина немецкого ренессанса (нем.), — прим. издателя.

трального понятия. Пока что для нас главное — быть плюралистами. В той области, которой с полной очевидностью призвана заниматься история культуры, сделано еще очень мало: еще слишком слабо очерчены сами собой вырисовывающиеся и объективно наблюдаемые формы прошлой жизни.

Именно здесь, в области специальной морфологии культуры, заложены связи, соединяющие все те ветви гуманитарных наук, которые входят в понятие исторической науки в самом широком смысле слова. Каждая из них трудится на своем собственном участке, но необходимо и взаимодействие между ними. История конституции и история права исследуют самую важную форму общественной жизни: государство и его органы. Экономическая история описывает и анализирует формы производства. История религии, этнография и социология делают то же самое в своей области. История искусства и история литературы, которые долгое время были поглощены определением родственных связей между явлениями с чисто внешней стороны, ищут пути к выявлению и пониманию определенных форм внутри своего предмета. Языкознание, перейдя от внешнего изучения форм, начатого еще младограмматиками²⁸, к исследованию вопросов семантики, то есть к внутренней морфологии выражения мысли, стало более чем когда-либо интегрирующей областью науки о культуре, с которой философия, право и история должны будут заключить как можно более тесный союз.

Читатель может предположить, что в работе всех этих отдельных наук уже в полной мере осуществляется задача, стоящая перед историей культуры, и что все вместе они составляют науку о культуре, так что для самостоятельной истории культуры уже не остается поля деятельности, не занятого еще той или иной частной наукой. Это мнение также представляется мне неверным.

Между историей с одной стороны и каждой из частных наук о культуре (по природе своей также исторических) с другой сохраняется то же существенное различие, которое, например, отличает филологию от истории. Каждая из более

молодых наук — о языке, о праве, о производстве, об искусстве — может в полном смысле слова именоваться филологией, хотя такое расширение понятия и не является общепринятым. Перед всеми этими специальными науками стоит задача проникнуть в формы культуры как таковые, в их изолированности от событий. Для литературоведения конечным объектом исследования служит либо определенное литературное произведение как самостоятельная ценность, либо общее понятие литературы. Для истории культуры, напротив, формы прошлого представляют собою некий подлежащий постижению дух, наблюдаемый всегда в потоке событий. Она обращается к своим объектам, сосредоточивает на них свое внимание, но вновь и вновь переводит взгляд с самих объектов на тот мир, к которому они принадлежали. Само собой разумеется, что эта граница между филологией и историей нарушается каждую секунду с обеих сторон. Так и бывает при мирном сосуществовании. И тем не менее границы не утрачивают своего значения.

Предметы, которыми занимается история культуры, суть многочисленные формы и функции цивилизации, насколько их можно прочесть по истории народов или социальных групп. Уплотняясь и конкретизируясь, эти формы и функции становятся фигурами истории культуры, мотивами, темами, символами, образами, идеалами, стилями и чувствами. Каждый из этих элементов может стать объектом частной науки: поэтическая тема — объектом литературоведения, стиль — объектом истории искусства, образ — объектом истории духа. И тем не менее они продолжают быть объектами истории культуры в целом, где их можно сравнить с отдельными сценами, составляющими единую мировую драму.

Наука о религии и этнография дают нам представление о том, что значат в той или иной культуре миф, посвящение, священнодействие, поединок, тайный союз и т.д. История культуры может и сама постоянно указывать на функционирование подобных явлений в пестром течении жизни. Из знания этих форм она извлекает выгоду, поскольку оно по-

могает ей лучше понять частные события и дать тем самым новое подтверждение и опору схемам частных наук. Ряд объектов, исследуемых историей культуры, находится либо в стороне от сферы влияния частных наук, либо охватывает их все. С буколичкой, например, связаны не только литература и изобразительное искусство, но также и танец, музыка, общественная жизнь и политическая теория, короче говоря, это культурная тема. Такие функции культуры, как служение, честь, верность, послушание, подражание, сопротивление, освободительная борьба, сами по себе являющиеся, если угодно, объектами социологии, не могут быть тем не менее разработаны достаточно полно в том систематическом изучении, которому их подвергает эта наука, если только история культуры не покажет их постоянно меняющегося облика и всегда разного функционирования в разные века в разных странах.

Если бы кто-нибудь мог написать историю тщеславия, то он охватил бы тем самым половину всей истории культуры. Кто нам даст «историю высокомерия в XVII веке»? Каждый из семи смертных грехов достоин отдельной главы в истории культуры и только ждет своего исследователя. До сих пор, как мне представляется, лишь один из семи смертных грехов не был воспринят в качестве самостоятельной культурно-исторической темы в той мере, в какой он того заслуживает. Причина такой недооценки как раз в том и состоит, что этот смертный грех, в отличие от всех прочих, не так понятен и очевиден, ибо смысл его меняется в зависимости от характера культуры. Имеется в виду *acedia* — грех, название которого очень неточно передается словом *уныние*. Для Петрарки это был его *Weltschmerz**. Литературоведение уже уделяло внимание понятию *acedia* у Данте, чрезвычайно трудно поддающемуся определению.²⁹

Впрочем, темы культурно-исторических исследований вовсе необязательно искать в сфере духовной жизни. Как ин-

* мировая скорбь (нем.), — прим. издателя.

интересно было бы почитать историю садов как формы культуры, или историю дорог, рынков, трактиров, или взять такое триединство как конь, собака и ястреб; интересно было бы рассмотреть культурную функцию шляпы или книги. В какой бы предмет мы ни углубились, всякий раз будет обнаруживаться, что ответы на вопросы, которые зададут в связи с этим предметом специальные науки, занимающиеся изучением различных аспектов культуры, не дадут общего представления о его месте и значении в обществе.

Следовательно, нет ни малейшей опасности, что такая история культуры, которая по сравнению с нынешней уделяла бы большее внимание данным, получаемым систематическими гуманитарными науками, тем самым отдала бы наследие Клио на откуп этой ужасной науке по имени социология, кстати, уже предпринимавшей попытку подступиться к истории с подобным иском. История культуры могла бы с большой пользой для себя многому поучиться у социологов, и при этом деятельность ее вовсе не свелась бы к работе у них на барщине. Тесное взаимодействие с социологией в ее разных вариантах — с практической социологией, представленной американскими учеными, и с исторической социологией Марсея Маусса, и с философской социологией Макса Шелера, Ханса Фрайера и других — могло бы пойти истории культуры только впрок. Единственная опасность, которая ей, возможно, грозит, это претензии на роль демиурга, свойственные некоторым нынешним мыслителям.

Благодаря новейшей теории познания история лучше осознает свою полноценность и неприкосновенность, чем раньше. В свойственной ей неточности и в том бесспорном факте, что она не может и не должна носить нормативный характер, как раз и состоит гарантия ее безопасности.

Периодизация истории хотя и необходима, но играет второстепенную роль, она всегда неточна, не имеет четкой основы и в известной мере произвольна. Выделенные периоды желательно обозначать бесцветными именами, образованными от названий сугубо случайных цезур, не связанных с историческими событиями.

Потребность в подразделении мирового процесса на ряд периодов, каждый из которых имеет собственную сущность и собственное назначение, возникла не в процессе занятия историей, а из космологического созерцания и астрологии. Понятия времени и судьбы в древних восточных религиях тесно связаны между собой. В таком слове как авестийское Зерван (персидское Заман*) переплелись представления о роке, о небесной сфере, о бесконечном времени, о вечном изменении и мировом движении, так что в результате возникло поразительное и глубокое по содержанию целое. Время само родит и рождается, оно создает все, что случается в мире. Системы циклов и эонов обязательно присутствуют во всех развитых формах религий.

Христианская культура слишком тесна, чтобы вместить в себя подобное космическое учение об зонах, равно как и идею о циклическом повторении однотипного мирового процесса. Христианская история ограничена учением о спасении и не допускает такого широкого размаха в периодизации. Так, в христианстве понятие смены времен перемещается из космической сферы в историческую, ориентированную, тем не менее, на учение о спасении и конце света. Основу для выделения всемирно-исторических периодов дало представление о четырех всемирных империях или царствах:

* Зерван (варианты: Зрван, Зарван, Зурван; авестийское слово) — в иранской мифологии божество, олицетворяющее время и судьбу; верховный бог зерванизма впоследствии был воспринят манихейством и религией Мирры, — прим. издателя.

Ассирийском, Персидском, Македонском и Римском, которые в свой черед сменяют и превосходят друг друга. Уже в эпоху эллинизма это представление существовало в достаточно развернутом виде. Оно встречается и в пророчествах Даниила, воплощаясь в образе четырех зверей, поднимающихся из моря, и в картине из сна Навуходоносора³⁰. Параллельно схеме четырех мировых царств возникла схема шести возрастов мира, см. Евангелие от Матфея, I:17. Отцы церкви Евсебий и Иероним уже в IV веке сумели не только снять противоречие, имевшееся между этими двумя схемами, но даже установить временное соответствие между содержащейся в них историей библейской и светской. Вплоть до середины XVI века учение о четырех мировых царствах считалось бесспорной схемой истории. На протяжении всех средних веков видимость того, что Римская империя продолжала существовать, позволяла сохранять эту схему: все, что случилось на земле после Рождества Христова и чему еще предстояло случиться, включалось в последний акт из четырех эпох, предреченных пророками.

Но вот гуманисты дали толчок к созданию новой концепции. Их восприятие античности как литературного и культурного идеала внушило им мысль о том, что не все было так гладко, и что после падения Западной Римской империи наступило варварское и презренное промежуточное время, *medium aevum**, время плохой латыни и *готического* искусства, которое Запад смог преодолеть лишь благодаря воскресению *bonae litterae*** в недавнее время. Лишь к концу XVII века трехчленная схема античность — средние века — новое время проникает из области литературы в историю. Поначалу эта схема существует фактически только в сфере школьного образования, но из школьных учебников распространяется все шире и шире. Из этих трех терминов, собственно говоря,

* средние века (лат.), — прим. издателя.

** здесь: ученость, образование (лат.), — прим. издателя.

лишь термин *античность* имел не чисто временное значение.

Однако в XVIII веке положение изменяется. Если Просвещение еще раз подчеркнуло ту отрицательную эмоциональную окраску, которую термин *средние века* имел уже для гуманистов, то романтизм, следующий непосредственно за Просвещением, *открывает* другие средние века с их крестовыми походами и благочестивыми легендами, с их балладами и готикой. Нельзя сказать, чтобы романтизм совсем отказался от той отрицательной оценки средних веков, которую исповедовало Просвещение. Содрогание от дикости и жестокости этого времени стало, пожалуй, важным и любимым элементом представления о нем. Можно было заявлять во всеуслышание, что ты романтик, и в то же время говорить об *ужасных средних веках*, — с их фанатизмом и вымыслами.

Еще в XVII веке обнаружили романтики поле средних веков расчищенным усилиями сен-морских исследователей — и завладели им на правах новых хозяев. Затем это поле было застроено новыми науками — историей, филологией, искусствоведением и т.п. Однако по мере того, как братья Гримм, Савиньи и сотни других исследователей, высвечивая частные явления, придавали образу средних веков все большую ясность и все более четкие очертания, зародилась мысль о том, что сама концепция этой эпохи с фактической точки зрения обоснована недостаточно и словосочетание *средние века* едва ли можно сохранить как исторический термин. Границы этого понятия всегда представлялись расплывчатыми. Все яснее осознавалось, что 476 год не был столь значительной цезурой. В отношении конца средних веков имелись колебания между 1453 годом (годом падения Константинополя) и 1492 (годом открытия Америки). Но каждая из этих конечных точек уже сама говорила о своей недостаточной мотивированности.

Почему же тогда ученые не отказались от термина *средние века*, если только он и вызывал разногласия? Потому что уже невозможно было обойтись без связанного с ним образа, потому что термин перестал быть просто обозначением

временного отрезка, он уже нес в себе целый комплекс важных исторических представлений.

Здесь и заключен *cardo** волнующего нас вопроса. Мы не можем отказаться от обозначения периодов теми или иными именами, потому что имена эти наполнены драгоценным для нас смыслом. И в то же время при малейшей попытке обосновать существующие названия обнаруживается их полная немотивированность. Данное противоречие — мнимое или действительное — имеет очень глубокие корни. Похоже, что вопреки рационализму, лежащему в основе нашего стремления к знаниям, даже чисто историческая работа никогда не может полностью освободиться от космического сознания, требующего более глубокого понимания и систематизации явлений, чем просто их последовательное размещение на временной оси. Эта связь между историческим и космическим мышлением осложняется еще и биологическим восприятием прошлого, что является следствием привычки ученых к естественно-научному строю мысли.

Отсюда становится понятным, что публикации последних десятилетий, вновь и вновь возвращающиеся к проблеме периодизации, создают впечатление большого разнообразия мнений и точек зрения, а также некоторой податливости концепции у каждого исследователя в отдельности. Большинство в принципе признает как практическую необходимость или по меньшей мере пользу некой классификационной схемы, так и неудовлетворительность существующей. Большинство склоняется к тому, чтобы не отказываться от традиционной системы из трех больших периодов, какой бы несовершенной она ни была, а только откорректировать ее. Чтобы сделать ее более приемлемой, они идут по одному из трех путей: либо по-иному проводят границы между периодами на основании признаков, по их мнению, более точных и логичных, либо пытаются показать, что периоды должны отделяться друг от друга широкими нейтральными полосами;

* поворотный пункт (первоначально: дверная петля) (лат.), — прим. издателя.

либо уточняют содержание какого-то одного из больших периодов, чаще всего средних веков, подразделяя его еще на несколько частей.

Отношения несомненной преемственности, соединяющие тонушую культуру Римской империи с новой западной культурой Меровингов и Каролингов, подробно исследуются в работах Альфонса Допша³¹. Преемственность, замеченную Допшем в экономике и более всего его интересующую, можно обнаружить и в сфере духовной жизни, и, в известной мере, в политике. Эту мысль развил Пиренн, доказывая, что на самом деле границу между античностью и средними веками надо было бы провести по времени нападений исламских народов на франкское государство³². Фердинанд Лот также приходит к аналогичному выводу о размытости границ между античным и средневековым миром³³.

Еще более оживленная и принципиальная дискуссия ведется по вопросу о переходе от средних веков к новому времени. К. Хойсси, специалист по истории церкви, возражает против любых общих схем для классификации истории церкви; он отрицает существование общих критериев и допускает использование общих терминов только в типологическом, но не в историческом их значении³⁴. Трельч, который в своем внушительном труде *Die Bedeutung des Protestantismus für die Entstehung der modernen Welt** поставил в 1906 году этот вопрос на обсуждение, в последней публикации *Der Historismus und seine Probleme***³⁵ уже определенно высказался, в противоположность большинству, в пользу деления истории на периоды, что имеет, по его мнению, большое познавательное значение. В создании периодизации он видит заключительное звено и вершину исторического мышления, построение собственно истории. Правда, он вынужден ограничиться лишь историей Европы, поскольку это единствен-

* *Роль протестантизма в возникновении современного мира*, — прим. издателя.

** *Проблематика историзма*, — прим. издателя.

ная историческая величина, по-настоящему доступная для изучения. К тому же он, обманывая ожидания читателя, не проводит своего варианта четких границ между периодами, хотя и считает таковые весьма существенными для его концепции. Новое время, по его мнению, в широком смысле началось в XV веке, в узком — в XVII. В связи с этим невольно возникает вопрос: не сам ли Трельч ослабил значение своего тезиса, признав реальность Grundgewalten*, заложенных в далеком прошлом и предопределяющих характер грядущих периодов? В этом смысле израильские пророчества вместе с греческим полисом породили средние века. Кроме того, он уже раньше называл средние века той плодотворной почвой, на которой произросла современная культура. Все это суть ценные и неопровержимые мысли, но что же тогда остается от идеальной самостоятельности выделяемых периодов? Против Хойсси и Трельча выступил фон Белов³⁶, доказывая, что позитивная и общая основа для классификации существует на самом деле, но состоит не в изменениях духа, как утверждает Трельч, а в крупных политических событиях, с которыми всегда связано духовное обновление. С этим никак не согласуется утверждение, которое фон Белов настойчиво защищает от нападков Трельча, что началом нового времени следует считать Реформацию³⁷.

Между тем Х. Шпангенберг предпринял новую попытку разрушить прежнюю трехчленную схему и заменить ее иной классификацией³⁸. По его мысли термины, обозначающие периоды, всегда искусственны и представляют собою не более чем подсобные средства, потому при создании терминов следует исходить (и в этом он близок к фон Белову) из решающих, великих боев за власть. Границы же периодов пролегают по грозящим гибелью кризисам и конфликтам, а не по временам обогащения культуры типа Реформации или путешествий, открытий и исследований. Явления такого рода отмечают вершины, а не границы периодов. Эта мысль

* основополагающие силы (нем.), — прим. издателя.

сама по себе интересна, но ее, к сожалению, не в достаточной мере последовательно подтверждает предложенная автором новая классификация. По его представлениям, цезуры приходится на период Великого переселения народов, затем на XIII век в связи с нашествиями монголов, далее на XVII век. Однако мы не видим отчетливой логической связи между монгольской угрозой и изменениями в политической и социальной структуре Европы, на основе которых Шпангенберг проводит различие между периодом до середины XIII века и периодом после середины XIII века, называя один из них феодальным, а второй — сословным.

Историческая секция, входящая в состав *Centre international de synthèse** в Париже, уже три года работает над составлением *Vocabulaire historique, destiné à définir rigoureusement les termes dont se servent les historiens et à fixer, autant que possible, les notions fondamentales de leur science***. На заседаниях Центра обсуждается каждое слово, включаемое в словарь, чтобы тем самым достичь максимально возможной однозначности научных понятий. Можно усомниться в том, что историческая терминология способна быть настолько определенной и постоянной или что обсуждения в форме симпозиумов дадут искомый результат, но нельзя не признать, что регулярно публикуемые в *Revue de synthèse historique****³⁹ отчеты о собраниях, на которых подверглось обсуждению множество исторических терминов, уже принесли большую пользу. Уже на первом заседании, в феврале 1926 года, обсуждалось деление истории на периоды, а также термин *Moyen âge*****. Вступительный доклад про-

* Международный центр синтеза (франц.), — прим. издателя.

** Исторический словарь, имеющий целью дать строгое определение терминов, которыми пользуются историки, и по возможности четко зафиксировать основные понятия их науки (франц.), — прим. издателя.

*** Обзорение исторического синтеза (франц.), — прим. издателя.

**** средние века (франц.), — прим. издателя.

чел польский историк О. де Галецки⁴⁰, в дискуссии приняли участие Н. Йорга, Р. Эйслер, Х. Берр, Л. Кахен, Л. Февбре и другие, — живое свидетельство того, сколь разносторонне обсуждалась проблема.

Ни у кого не вызывает сомнения, что наука испытывает острую потребность в хорошо обоснованных и точных терминах для обозначения периодов. Они нужны для понимания истории в смене ее фаз. Как мы видели, Трельч вообще считает, что только периодизация может служить фундаментом для здания исторической науки. Когда же мы пытаемся дать тщательное определение термину, обозначающему период, то сразу же оказывается, что чем темрин удачнее с типологической точки зрения, тем он менее удачен в хронологическом плане. Историк, приверженный хронологическим границам, представляющий себе выделенные периоды графически в виде отрезков одной непрерывной линии, уподобляется человеку, желающему с зоологической точки зрения изучать ломти, на которые разрезали рыбу. Надежнее говорить о средневековой культуре, чем о средних веках. Понятие средневековой культуры строится из ряда более или менее согласующихся между собою представлений, таких как феодализм, рыцарство, жизнь монастырей, схоластика и множество других. Важнейшие из них переживают расцвет на рубеже XII и XIII веков. Шпангенберг справедливо заметил, что значительные достижения культуры приходятся скорее на середину, чем на начало периода. Границы понятия *средние века* как хронологического явления теряются по обе стороны только что обозначенного времени, начало — где-то в античности, конец — где-то в новом времени.

Поскольку поделенная на отрезки линия есть все же крайне неудачный графический образ исторических периодов, то желательно было бы подыскать другую, более плодотворную интерпретацию, — например, взять несколько пересекающихся кругов разного радиуса, центры которых расположены неподалеку друг от друга, но разбросаны совершенно беспорядочно. Возникнет фигура со множеством

общих точек, напоминающая cluster*, гроздь. Однако некоторые историки считают, что такое изображение недостаточно отражает течение времени и движение в определенном направлении. Анри Се отвергает принцип периодизации на том основании, что он несовместим с мыслью об эволюции. По его мнению, только представление о циклическом процессе позволило бы дать классификацию, согласующуюся с действительностью; однако такая концепция, считает он, вышла из моды и может быть применена в лучшем случае к некоторым фазам истории Востока⁴¹. На самом же деле как раз в последнее время такая циклическая или, по меньшей мере, ритмическая классификация и соответствующая ей трактовка хода истории снова вынесена на повестку дня⁴².

Наше время испытывает осязаемую потребность в понятии ритма. Порою даже кажется, что там, где нет понятия, достаточно одного слова. В биологической науке этим словом так же злоупотребляют, как и в искусствоведении. Именно такая потребность нашей культуры в ритме и может объяснить нынешнее возрождение в исторической области учения о поколениях, выступающего в самых разных обличьях. В 1872 году французский математик, экономист и философ А. А. Курно опубликовал труд под названием *Considérations sur la marche des idées et des événements dans les temps modernes***, в котором он разбивает каждое столетие истории на три поколения продолжительностью примерно в 30 лет каждое. Похоже, что в немецкой науке этот опыт прошел незамеченным. По крайней мере Оттокар Лоренц, создавший четырнадцатью годами позже свое учение о поколениях⁴³, не вполне оправданно подкрепляет его ссылкой на идеи Ранке, а не на Курно. Учение Лоренца вызвало в свое время толки, но не имело особого успеха. Позднее о нем совсем забыли, че-

* пучок; кластер (англ.), — прим. издателя.

** Размышления о движении идей и событий в новейшее время (франц.), — прим. издателя.

му свидетельством то, что лет пять назад к схеме смены поколений почти одновременно вернулись Вальтер Фогель и Карл Йоль⁴⁴. Оба утверждают, что познакомились с работой Лоренца значительно позже. Сразу же за ними последовала глубокая, но крайне субъективная в оценках книга Вильгельма Пиндера, в которой принцип поколений привозносится настолько, что кладется в основу понимания любого культурного или культурно-исторического явления⁴⁵.

Мне же представляется, что все эти новые формы, в которых преподносится учение об исторических поколениях, содержит одну и ту же логическую ошибку, делающую их неприемлемыми. Начнем с того, что первое поколение в некоем ряду из трех всегда будет одновременно вторым и третьим в других рядах. Но дело не только в этом. Сторонники данного учения составляют, например, такую триаду поколений: 1700 -1733, 1734 -1769, 1770 -1800 — и интерпретируют события, образующие в своей совокупности историю XVIII века, в зависимости от того, пришлись ли они на годы *возникновения, зрелости или упадка* (иначе: действия, реакции или синтеза) данного столетия. Но ведь есть также и триада поколений, ограниченных годами 1701 -1734, 1735 -1770, 1771 -1801 и так далее, начиная с каждого года, фактически с каждого дня. В биологическом отношении все эти триады совершенно равноценны. Некий фактор, который, как утверждается, превращает одну треть века в *период возникновения*, а другой в *период упадка*, не возникает раз в 30 лет, но присутствует постоянно. Он лежит вне человеческих поколений, всего лишь дающих материал для протекания процесса. С логической точки зрения невозможно втиснуть всю историю целого века в схему смены трех поколений. Если учение о поколениях применяют к какому-то одному определенному и уже хорошо описанному явлению культуры, то оно работает несколько лучше, но и в этом случае его обоснованность обманчива, ибо никогда нельзя считать, что некое поколение, выделенное с биологической точки зрения совершенно произвольно, несет на себе ответственность за определенную фазу в развитии какого-либо историческо-

го явления⁴⁶. Здесь, как практически и везде, нет и не может быть никакой связи между естествознанием и историей, разделяемыми непреодолимой пропастью.

Единственное разрешение дилеммы точной периодизации состоит в том, чтобы заведомо отказаться от малейших требований точности. Прибегая к конкретным терминам, необходимо проявлять сдержанность и умеренность, подсказываемые установившейся в исторической науке традицией. Обращаться с терминами лучше без усилий, не перегружая их, не взваливая им на плечи непосильных задач. Не следует выжимать из термина все соки или топтать его ногами, как это случилось с термином *ренессанс*. Полезно не упускать из виду, что любой термин, претендующий на то, чтобы вместить в себя характерные особенности периода, тем самым уже содержит в себе и предвзятость. Осмотрительность подсказывает не помнить, что название *средние века* говорит о каком-то среднем положении, а *ренессанс* — о возрождении. И нужно всегда быть готовым отказаться от термина, как только природа явления, которое он описывает, обнаружит его непригодность.

Едва термин начинает использоваться для обозначения какого-либо культурного периода, он тотчас же приобретает значительную эмоциональную нагрузку, цвет и запах. В этом смысле не играет роли, по какому принципу дается имя. Чисто арифметические или нейтральные названия (Древнее царство, Тан) или географические (Микейский) оказываются не менее эмоционально окрашенными, чем такие по видимости полные смысла, как имена романтизм или барокко. С каким снобизмом, с какой несправедливостью был в последние годы отброшен термин *викторианский*!

Можно допустить, что если название эпохи воспринимается слишком буквально и за ним угадывается слишком глубокий смысл, то оно только мешает постижению истины. Поэтому самыми безобидными в употреблении оказываются те термины, немотивированность которых сразу бросается в глаза. Это термины, касающиеся только одной страны, име-

на, указывающие на столетие или правившую династию. Если только искусственное учение о поколениях не станет утверждать, будто разделение истории на века в нашем летоисчислении соответствует действительному членению истории, то никому не причинят вреда названия *кватроченто* и *чинквеченто*. Напротив, они окажут большую услугу, помогая людям понимать друг друга. Как бы ни были важны фигуры Елизаветы Английской, Фридриха Великого, Карла XII и Екатерины II, ни один разумный историк не усмотрит в таком обозначении периодов как *Elizabethan*, *Friderizianisch*, *Karolinerna** или *екатерининский* естественного членения истории. Поэтому совсем не страшно, если елизаветинскую драму продлевают до 1660 года. В этом кроется некоторое неуважение к памяти Якова I и Карла I, но никаких недоразумений не возникает. Термины такого типа также легко приобретают более емкое значение, дополнительную нагрузку, сохраняющую определенную *Anschauung***, но в них самих уже заложено предупреждение о том, что их следует употреблять лишь как вспомогательное средство и не превращать в понятие. Еще одно существенное обстоятельство заставляет проявлять большую осторожность при использовании общепринятых терминов, именующих культурные периоды. Дело в том, что интернациональные термины такого типа часто имеют разное значение в разных европейских языках. Так, немецкое *romantisch**** означает нечто иное, чем французское *romantique*****. Термин *ренессанс* имеет совершенно различное содержание во Франции, Германии и Италии.

Тем не менее, общее направление теперешнего исторического мышления требует, чтобы в научном обиходе ис-

* елизаветинский (англ.), относящийся к эпохе Фридриха Великого (нем.), каролингский (франц.), — прим. издателя.

** воззрение (нем.), — прим. издателя.

*** романтическое (нем.), — прим. издателя.

**** романтическое (франц.), — прим. издателя.

пользовалось все больше и больше подобных терминов. Хотя уже в 1881 году фон Виламович и употребил термин *Barockzeit**, говоря о греческой античности, можно утверждать, что термин этот еще двадцать лет назад применялся только для обозначения определенных форм в архитектуре и скульптуре XVII века. Х. Вельфлин превратил его в общее искусствоведческое понятие, связанное с определенным стилем. В таком смысле его использовал и Шпенглер. Постепенно стало возможным применить этот термин при описании не только художественного стиля, но и стиля мышления, и стиля жизни. В таком вот общем культурно-историческом значении термин *барокко* используется преимущественно в немецкой научной литературе. Когда несколько лет назад передо мной встала задача уяснить себе сначала фигуру Карла I, а потом фигуру Гуго Грюция, я обнаружил к собственному удивлению, что могу осмыслить эти две фигуры только исходя из понимания барокко как некоего духа времени.

Так вопрос о периодизации вновь возвращает нас к размышлениям о том свойстве, которое объединяет все проявления культуры эпохи, придавая им однородность; свойстве, которое Лампрехт обозначал термином *диапазон*; которому насильственно пытался придать пластическую форму Шпенглер; которое так хорошо показал в своем симфоническом эксперименте Буркхардт, — которое всегда стоит перед нашим мысленным взором, оставаясь неуловимым. Мы можем обозначить это *нечто* именем, которое поможет нам в течение какого-то времени более или менее понимать друг друга. Но мы никогда не сможем окончательно уловить его в сети наших дефиниций. В том, что этот возвышенный объект исторической науки не поддается определению, проявляется глубочайшая связь исторического понимания действительности с самой жизнью.

* эпоха барокко (нем.), — прим. издателя.

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ ИДЕАЛАХ¹

Господа кураторы, профессора, доктора, дамы и господа, студенты и все те, кто оказал мне честь своим вниманием!

Отправляясь сюда, вы, вероятно, полагали, что для человека, намеревающегося в нынешней обстановке изложить свой взгляд на мировую историю, существует лишь один предмет — исторические предпосылки мировой войны. В таком случае мне предстоит вас разочаровать, ибо речь у нас пойдет о другом. Если я в конечном счете все же разбужу тот ураганный ветер, который война порождает в ваших умах, произойдет это вопреки моему желанию. Историк не должен уподобляться Демосфену, который старался перекричать бурю: у него иные задачи. Но тот ясный день, когда историк сможет безмятежно наблюдать народы и государства, проплывающие перед ним подобно легким облакам, все еще далек от нас.

И даже отправную точку, пример, с которого я хочу начать изложение занимающей меня мысли, я беру из далекого прошлого, — хотя и в настоящем найти подходящий пример было бы несложно.

Как и многие его современники, бургундский герцог Карл Смелый был одержим жаждой славы, восхищался пол-

¹ Речь, произнесенная при вступлении в должность профессора Лейденского университета 27 января 1915 года. — *Последующие надстрочные номера отсылают к примечаниям автора на стр. 210.*

ководцами древности — Цезарем, Ганнибалом, Александром — и сознательно стремился походить на них и подражать им.² Он видел в них высокий образец античного величия — и старался следовать ему в своей жизни. Иными словами, у Карла был исторический жизненный идеал.

Именно о таких исторических жизненных идеалах я и хочу говорить: о том, каким образом исторические представления могут воздействовать на развитие культуры, государства и личности, а порою, пожалуй, и определять это развитие; о том, как подобные исторические представления выступают подчас в роли непосредственных примеров для подражания, а иногда и в роли вдохновляющих символов культуры; о том, как человечество, с восхищением обращая взоры к воображаемому совершенству прошлого, стремится подняться до былого идеала или упивается этой иллюзией. Если бы я несколько расширил рамки моей темы и повернул бы ее чуть по-иному, то мое выступление можно было бы назвать, скажем, «О романтизме и культуре», или: «О возрождениях», или, несколько парадоксальным образом, «О влиянии истории на историю». Но тем самым я пообещал бы вам больше, чем могу дать, — почему я и ограничусь первым названием: *об исторических, а еще точнее, о некоторых исторических жизненных идеалах.*

С нашей темой тесно связаны два вопроса историко-философского характера. Не останавливаясь на них подробно, обозначу их общие контуры. Первый вопрос таков: в самом ли деле имею я право считать подобные представления активными факторами истории и говорить об их воздействии как о чем-то самостоятельном? Не суть ли они чисто внешние симптоматические явления, то есть всего лишь формы выражения культуры? Нельзя отрицать, что в данном вопросе позиция исторического материализма выглядит сильной. Эти исторические идеи можно, несомненно, рассматривать просто как внешнее убранство, как одежду, в которую рядятся устремления экономического (или политического) характера, или считать их всего лишь культурно-историческими арабесками. Такая трактовка представляется

весьма убедительной. Не подлежит сомнению, что именно общая направленность сегодняшних устремлений и определяет, какие из оставленных историей образцов приобретут ценность жизненных идеалов. Вполне очевидно, что идеалом или символом способны стать только те исторические примеры, в которых может выразиться настоящее. В этом смысле в момент своего возникновения они зависят от общественных или политических отношений в настоящем. Но когда примеры уже существуют и живут в сознании как идеи или символы, то тут — и это уступка, уже давно сделанная историческим материализмом, — тут они обретают самостоятельность и способны оказывать воздействие на дальнейшее развитие представлений и положений. Впрочем, сама идея социализма служит прекрасным тому примером. Если мы оставим вопрос о первопричине возникновения исторических идеалов и ограничимся лишь их действием в качестве исторических факторов, то мы избежим опасности с самого начала запутаться в одном из труднейших вопросов философии истории.

Совсем несложно будет на ряде примеров показать, как некое историческое представление, став образцом и ориентиром, может оказывать самое прямое и весьма действенное влияние на поступки той или иной личности, того или иного правительства. Пример Карла Смелого особенно подходит для этого. Вся его жизнь несет на себе печать слепого следования призрачному идеалу. Причем хорошо известно, к каким всемирно-историческим последствиям приводили события его бурной и причудливой жизни. Точно также и Карл XII Шведский, которого с Карлом Смелым сближает не только имя, но и душевный склад, в своих властолюбивых устремлениях постоянно обращает взор к фигуре Густава Адольфа; собственную жизнь он строит как сознательное подражание жизни Густава и надеется умереть так же, как его герой. Людовик XVI, тщательно изучивший историю Карла I Английского, определяет свое отношение к Конвенту под впечатлением от его судьбы. В России, во время подготовки отмены крепостного права начиная с 1857 года, группа славя-

нофилов, настроенных в ту пору в основном на литературно-романтический лад, страстно увлекается аграрным коммунизмом, который они ошибочно считают истинно русским и даже исконно русским явлением и которым упиваются как некой идиллией. Это увлечение определило выбор правительства, сделавшего общинное землевладение основанием новой аграрной реформы. Последний пример весьма выразителен: мы видим, как под непосредственным влиянием исторических представлений создаются уже и экономические отношения.³

Второй из упомянутых мною вопросов затрагивает еще более глубокие пласты. Обратимся снова к нашему примеру. Фигуры древних полководцев были для Карла Смелого осознанным историческим идеалом. Но рядом с этими идеалами стояли другие, по своему характеру менее завершенные, игравшие менее однозначную роль в общей концепции его жизненного предназначения исторические идеалы, — такие как борьба с неверными, честь рода, вечный мотив мести французскому королю, приверженность Англии в связи с происхождением герцога по материнской линии. Все это тоже были исторические элементы его мышления, оказывавшие воздействие на его поступки. Имеются ли основания проводить различие между только что перечисленными фактами, исторический характер которых оставался полуосознанным или неосознанным, и вполне осознанными герцогом историческими идеалами? В общем виде этот же вопрос прозвучит так: не обретает ли любая государственная или культурная идея присущие ей черты под влиянием истории, не основывается ли, в конечном счете, всякое деяние на выводах, сделанных из исторических представлений? И если принять, что подобное происходит всегда и везде, то не означает ли это, что можно говорить об особых случаях воздействия исторических идеалов на последующую историю? ⁴

Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что подобное разграничение достаточно произвольно, но нам придется им удовлетворяться, если мы сосредоточим внимание на тех

представлениях, замкнутый исторический характер которых не вызывает сомнения.

Историческими представлениями я считаю не только те представления, которые основаны на научном исследовании или на предании, имеющем под собою историческую почву, но также и такие представления, которые являются продуктом мифотворческой фантазии. Степень исторической точности каждого представления для нас пока безразлична, важно лишь, чтобы носитель воспринимал это представление как истинный образ минувшей действительности. Впрочем, и это не столь обязательно: достаточно, чтобы образ мог восприниматься как живая действительность; герой романа, несомненно вымышленный, мог бы в данном случае выступать в качестве исторической идеи. Именно поэтому я называю историческим жизненным идеалом любое представление о совершенстве, которое человек возводит к прошлому. Бывают общечеловеческие исторические идеалы, вдохновляющие целый период развития культуры; бывают идеалы, сохраняющие свое значение лишь в одном государстве или для одного народа; наконец, бывают еще идеалы, на которые ориентирована жизнь одного-единственного человека. Я ограничусь рассмотрением первого, наиболее общего случая.

Если окинуть взором эти идеалы, сменяющие друг друга на протяжении больших исторических периодов, то можно, пожалуй, увидеть некую единую линию развития. На ранних этапах цивилизации идеалы мифологичны, под ними нет исторической почвы. Это идеалы безмятежного счастья, существующие в виде неясных образов, возводимых к незапамятным временам. С течением времени больший вес приобретают воспоминания о действительно имевшем место прошлом, историческая составляющая возрастает, идеалы становятся все более конкретными и близкими. На идеал полного счастья оглядываются уже с тоской как на нечто навеки утраченное, но при этом возникает и потребность следовать в жизни некоему идеалу, в результате чего вслед за исторической возрастает этическая составляющая.

Одновременно с общечеловеческими идеалами возникают и более частные, ограниченные и потому распространенные только в пределах определенной группы. Я имею в виду идеалы национальные. Они живут дольше общечеловеческих. В связи с распространением современного исторического мышления, ослабляющего блеск великолепия общечеловеческих идеалов, они утрачивают свое наивное очарование как непосредственные модели жизни. В то же время национально-исторический идеал обретает все большую питательную среду благодаря тому, что люди более интенсивно изучают историю. Впрочем, он обычно остается скорее символом, чем прямым образцом для подражания. Чтобы воплотить идею добродетели и счастья, современное человечество ищет не столько общие исторические модели, сколько исторические символы, выражающие устремления народов.

— Древнейшее представление о былом совершенстве оказывается одновременно и самым общим: это золотой век, начальный период истории человечества, каким его знали греки и индусы.⁵ Не буду останавливаться здесь на той специфической форме, которую этот образ принимает в предании о рае. На первом месте, однако, стоят в нем мир, невинность, отсутствие законов, вечная молодость и долгая жизнь. Для древних это исторический идеал в полном смысле слова. Не только Гесиод, но и Тацит, и Посидоний трактуют золотой век как историческое прошлое.⁶

Однако в представлении о золотом веке отсутствует один важный элемент: обещание возврата утраченного блаженства, мысль о необходимости стремиться к его восстановлению своими силами. Поэтому в тесной связи с идеей о золотом веке развивается представление об Элизиуме, или об Островах блаженных. Как в индийском, так и в позднем греческом предании мы видим один и тот же переход — прежний властитель золотого века, в одном случае Крон, в другом Яма, в дальнейшем почитается правителем Элизиума.⁷ Но если гомеров Элизиум и гесиодовы Острова блаженных мыслятся еще на земле, где-то далеко на Западе, и достичь их можно при жизни, то индийский Яма уже в Ат-

харваведе — это «тот, кто умер первым из всех смертных, кто первым отправился в потусторонний мхархарир».⁸ Земной идеал счастья, бесконечно удаленный во времени или в пространстве, сменяется представлением о потустороннем мире. Так и должно быть: идеал абсолютного счастья шагнул через границу жизни и вылился в стремление к смерти.

Во все те периоды человеческой цивилизации, для которых характерно сильное стремление к абсолюту (такие как, например, эпоха древнего буддизма или христианского средневековья), представления о загробной жизни естественным образом отодвигают идеалы культуры на второй план. Такие периоды ориентированы на смерть, а не на жизнь. Но как бы человек ни отвергал здешний мир и жизнь, как бы ни прикрывал стремление к счастью надеждой на вечность, у него всегда оставался запас неиссякаемой жизненной энергии для поисков земного счастья и земного совершенства.

Но можем ли мы говорить в данном случае об идеалах культуры? — Нет. Вера в возможность совершенствования культуры чужда средним векам, им неведомо желание последовательно возводить нечто новое на основе общественной данности, им незнаком вкус к постепенным преобразованиям, представляющий собою движущую силу всех нынешних социальных и политических устремлений. Единственный идеал средневековья, который можно в полной мере назвать идеалом культуры, это идеал всеобщего мира, каким мы находим его у Данте.

Все остальные идеалы не только ретроспективны, но и в значительной мере негативны. Если культура исходит из глубоко коренящегося представления о том, что раньше все было лучше и что нам следует вернуться к первоначальной чистоте нравов, прав и законов, то она отрицает этим самое себя. Бегство из настоящего, желание оказаться вдали от ненависти и нищеты, бесправия и борьбы, отказ от земной действительности, одним словом, освобождение от оков, *мокша*, служит глубочайшим основанием, объединяющим стремление к земному счастью со стремлением к небесному блаженству.

Вполне понятно, что формы, в которых мыслится бегство из настоящего, крайне немногочисленны. Разнообразие культурных форм вообще очень ограничено. Там, где имеется одна и та же исходная точка — отвращение к безнадежной пестроте и суетности жизни, — и одна и та же цель — простота и истинность, покой и мир, — там могут оказаться пригодными лишь несколько форм.

— Среди представлений о прошлом, служивших для людей идеалом, было одно, на которое людям с самого начала, можно сказать, настойчиво указывали как на образец для подражания: жизнь Христа и апостолов, идеал евангельской бедности. И тем не менее прежде, чем евангельский образец смог обрести практическое значение жизненного идеала и начал оказывать воздействие на людей, потребовалось, чтобы сначала пробудилось историческое воображение; чтобы рядом с торжественно-отвлеченным образом Христа возник образ исторический и конкретный, вселяющий в душу глубочайшее сострадание. Лишь в XII веке слова «Если хочешь быть совершенен, иди и продай, что имеешь, и раздай бедным» начинают восприниматься как призыв к действию. Так понимает их и Бернард Клервоский с его буйным воображением, а Пьер Вальдо и Франциск Ассизский следуют этому принципу в жизни. «Чему научили и чему учат нас ныне святые апостолы?» — восклицает святой Бернард, — «Они научили меня жить.»⁹ Это осознанный исторический идеал. На протяжении одиннадцати веков, говорит Данте, Бедность, лишенная своего первого супруга, оставалась в небрежении и забвении, пока не явился святой Франциск.¹⁰ Стремление следовать Христу, пробуждающееся, например, у святого Бернарда — это возрождение; когда Фома Кемпийский спустя три века вновь провозглашает этот идеал, прямо повторяя слова святого Бернарда — то это возрождение возрождения.

Глубинное стремление к освобождению от оков, к отрешению от всех уз и привязанностей не способно воплотиться ни в одном идеале с такою полнотой, с какою оно воплощается в идеале бедности. Идеал добродетели и связь с небе-

сами затмевают в данном случае идеал блаженства на земле. Тем не менее присутствует здесь и обещание земного счастья.¹¹ К тому же желание отказаться от дома и имущества никогда не было одним только религиозным порывом, но было также и вечным отрицанием культуры ради самого ее отрицания, святым бродяжничеством, совершая которое *pauperes de Lugduno** и первые последователи Франциска столкнулись со скоморохами и паломниками, со странствующими школярами и непристойными бродягами.

— Каким бы большим ни казалось различие между идеалом евангельской бедности и идеалом пастушеской жизни, они обнаруживают близкое родство. Буколическое мироощущение подразумевает тот же самый отказ от культуры, то же самое стремление к простоте и правде. Однако если пасторальный идеал отвергает культуру ради природы и наслаждения, то апостольский идеал отвергает и культуру, и природу ради добродетели и в ожидании жизни вечной. Весьма несходно и непосредственное воздействие этих двух идеалов. Для всех тех, кто возложил на себя обет бедности, следование ему было делом в высшей степени серьезным. Ни у кого не возникает сомнений в том, что этот идеал оказал огромное влияние на историю. Напротив, подражание пастушеской жизни редко бывало чем-то большим, чем развлекательной игрой. Сомнения в том, что эта сладкая мечта действительно оказывала какое-либо воздействие на культуру, представляются вполне оправданными.

Никакие другие фантазии не очаровывали человечество своей неизменной свежестью на протяжении столь долгого времени, как зовущий вдаль пастушеский рожок и застигнутые врасплох нимфы под шелестящей сенью деревьев у журчащих ручьев. Подобные представления во многом родственны представлениям о золотом веке, у тех и других есть множество точек соприкосновения: пастораль — это приближенный к жизни золотой век. В той мере, в какой в буко-

* нищие из Лиона (вульг. лат) — прим. издателя.

лических фантазиях обычно присутствует мысль о минувшем блаженстве, подтверждением чему служит *Beatus ille*¹² Горация, здесь также можно говорить об историческом, т.е. ретроспективном идеале. Лишь изредка буколическая поэзия переходит допустимые границы и помещает рядом друг с другом реальных сельских жителей и Коридона с Дафнисом.

По-настоящему наивной и естественной буколика не была никогда. У самого Феокрита она предстает плодом усталости от городской жизни, бегством от культуры. Уже на очень ранних этапах то здесь, то там проскальзывает иронический тон, осознание лживости изображаемого. В последующие эпохи буколическая поэзия переживает множество возрождений. Когда римские поэты времен Августа увлекаются буколикой, то это — возрождение; возникновение поздне-греческого пасторального романа — тоже возрождение; когда несколько неуклюжие *beaux-esprits**, при дворе Карла Великого рядятся в одежды Тирсиды и Дамета, а Алкуин воспекает кукушку¹³ — то и это, несомненно, возрождение. Позднее мотивы пастушеской жизни осваиваются рыцарской лирикой и культивируются в средневековых идиллиях. В XV веке пасторальная фантазия буйствует как никогда. Пасторали царят при орлеанском и бургундском дворах, при дворе Лоренцо Медичи. А один король — речь идет о Рене Анжуйском — даже претворяет этот идеал в жизнь:

J'ay un roy de Cécille
Vu devenir berger,
Et sa femme gentille
De ce mesme mestier.
Portant la pannetière,
La houlette et chapeau,
Logeans sur la bruyère

* остряки (франц.), — прим. издателя

В дальнейшем в Италии и Испании возникают новые пасторальные драмы и бесконечные пасторальные романы: Саннадзаро, Монтемайор, Тассо, Гварини, д'Юрфе. С опозданием на сто лет к этим странам присоединяется наша добрая Голландия со своими аркадиями, похожая на сельского учителя в деревянных башмаках на званом обеде. И, наконец, в XVIII веке происходит последнее и самое утонченное возрождение пасторальных вкусов: Ватто, Буше, идиллии Саломона Геснера.

После этого форма отмирает. Еще в XVIII веке литературная теория искренне считала буколическую поэзию самым ранним литературным жанром и самым полным выражением естественности. Затем, однако, посох, флейта и свирель Пана были спрятаны в сундук как реквизит устаревший: форма в конце концов отжила, хотя духовный запрос, вызвавший к жизни буколическую поэзию, сохранился, проявляясь не только в *Поле и Виргинии* Бернардина де Сен-Пьера, но и много позже, вплоть до наших дней. Пан и сегодня — самый живучий из греческих богов.

Оказал ли, однако, этот буколический жизненный идеал какое-либо реальное воздействие на культуру — или же следует полагать, что он затронул лишь историю литературы? Но история литературы есть раздел истории культуры, и тот факт, что в рамках буколической поэзии человек научился говорить о природе и о любви, имеет громадное культурно-историческое значение. Затем, и вне области эстетики пастушеская идиллия имела значительное влияние на культуру: идея естественности, гармонического слияния с природой, прослеживаемая от античности до Руссо, обязана своим существованием именно пастушеской идиллии и представ-

* Видел я, как один король в Сицилии стал пастухом и как славная жена его занялась тем же ремеслом. Был он с пастушеской сумой, с посохом и в широкополой шляпе, и жилье себе устроил в зарослях вереска подле своего стада (старофранц.), — прим. издателя.

лениям о золотом веке.

Удивительная жизнеспособность пасторальной формы проявляется также в той простоте, с которой пастушеские фантазии соединяются с идеями совсем иного толка, например, с религиозными. По меньшей мере естественно, что образы виффлеемских пастухов, доброго пастыря и даже агнца божия находились во взаимодействии с пасторальными мотивами; облечение клерикального содержания в буколическую форму мы встречаем в самые различные периоды.

Причина такой жизнеспособности пасторальной формы заключается, несомненно, в ее эротической основе. Эта основа является общей для пасторали и другого жизненного идеала, вообще теснейшим образом с пасторалью связанного, — идеала *рыцарского*.

— Здесь мы снова находим жизненный идеал, принадлежащий к числу общечеловеческих. По своей природе он значительно отличается от пасторального идеала, будучи и более весомым, и более реальным. Еще существеннее то, что здесь перед нами уже культурный идеал в полном смысле этого слова. Буколические фантазии, сколь бы важны они ни были для развития культуры, в конечном счете остаются не более чем элементами изысканной беседы. На реальную, повседневную жизнь этот идеал оказывал весьма ограниченное воздействие. Наоборот, идеей рыцарства проникнута вся культурная жизнь эпохи, ею вдохновляются полководцы и политики. Если пастораль рождается только из томления по чему-то далекому, то рыцарская идея складывается на твердой почве общественных отношений как *форма жизни*¹⁵ сильного и реально существующего сословия.

Если как сословие рыцарство рождается в результате развития системы ленных отношений, то как форма жизни оно уходит своими корнями значительно глубже, а именно — в религиозные обряды примитивной культуры.¹⁶ Все три важнейших элемента жизни рыцаря — посвящение в рыцари, рыцарские обеты и турниры — восходят непосредственно к древнейшим сакральным ритуалам. Не из смутного ли осознания древности его происхождения проистекает изна-

чальное восприятие рыцарского идеала как чего-то ретроспективного или, скажем, исторического? Даже в XII веке, когда рыцарство еще только начало раскрываться как особая, хорошо разработанная форма жизни, оно уже имело оттенок возрождения, сознательного воскрешения романтического прошлого, независимо от того, обращены ли были взоры к античности, ко временам Карла Великого или, как это случалось чаще всего, к окружению короля Артура.

Таким образом, в рыцарском идеале по сравнению с буколическим возрастает историческая составляющая. Рыцарское предание в значительно большей степени основывается на реальном прошлом, легче поддается исторической конкретизации, чем расплывчатые, всегда стереотипные картины счастья в буколической поэзии. Более глубокое различие состоит в том, что в представлении о золотом веке и в буколиках идеал счастья превалирует над идеалом добродетели; добродетель строится здесь на основе отталкивания: это скорее невинность, отсутствие греховных побуждений как следствие естественной жизни на лоне природы, в условиях равенства, свободы и изобилия. В рыцарском идеале, напротив, стремление к добродетели преобладает над стремлением к счастью. Рыцарское призвание всегда альтруистично; это защита притесняемых, верность сюзерену, прославление христианства. Жизнь рыцаря подчинена служению королевству и культуре. Недаром даже в XV веке некоторые авторы восхваляли рыцарство, уже ставшее к этому времени анахронизмом, называя его лучшим целительным средством всех времен. В данном случае мы имеем дело с идеалом культуры почти в чистом виде.

Благодаря своей ориентации на альтруизм рыцарская концепция жизни постоянно пересекается с верой. Причем связь эта отнюдь не второстепенна, ибо сама рыцарская добродетель в основе своей не только альтруистична, но и аскетична. Эта аскетичность отчетливо проявляется в причудливых, на первый взгляд подчас даже варварских обетах самоограничения, которые рыцари налагали на себя и исполняли вплоть до совершения определенного подвига. Древнее

происхождение подобных обетов становится очевидным, если вспомнить, например, о той роли, которую в них играет отращивание волос и бороды. Взять хотя бы обет Люме, один из последних отголосков этой традиции. Подобные обеты, равно как и религиозное самобичевание, уходят корнями в эпоху, которая не имела ни малейшего отношения к христианству и предшествовала ему по времени. Но рыцарский аскетизм проявляется не только в подобных обетах. Смелость сама по себе — уже примитивная разновидность аскетизма, первичная форма самоотверженности, простейшее самоотречение, победа над естественным эгоизмом и личными сиюминутными интересами; это элементарная, изначальная добродетель, *virtus**, рождающаяся раньше и сохраняющаяся дольше, чем все прочие виды аскетизма.

Истинный рыцарь — это человек, отказавшийся от мира. Жак де Лалаинг, образцовый рыцарь XV века, хочет передать свое право наследования младшему брату, «*car tout son vouloir sy estoit de s'en aller user sa vie et exposer son corps au service de nostre seigneur, et de soy tenir en frontières sur les marches des infidèles, sans jamais plus retourner par deçà*»^{**17}.

Именно глубинное стремление к самопожертвованию приводит к тому, что рыцарский идеал так легко становится идеалом духовным¹⁸, причем напряженность этой духовности нарастает от поэзии трубадуров к дантовой *Vita nuova*. Однако источником такой жертвенности является глубинный эротизм рыцарского идеала. Можно с абсолютной уверенностью сказать, что наиважнейшей функцией рыцаря является его участие в турнирах, а турниры суть не что иное, как наиболее роскошно обставленная, облаченная в самые изысканные одежды форма эротических боев, истоки кото-

* доблесть; в более позднем значении — добродетель (лат.), — прим. издателя.

** ибо все мои желания — отдать мою жизнь и предать тело мое в услужение Господу, и стоять на рубежах, преграждая путь нечестивым, и никогда не отвращаться от сего (старофранц.), — прим. издателя.

рых лежат не только вне сферы высшей культуры, но даже и за пределами человеческой природы. Самая суть рыцарских турниров, равно как и рыцарских обетов, заключается в присутствии дам, пред чьим взором рыцарь проливает свою кровь или демонстрирует смелость и силу. Этот элемент половых отношений отчетливо ощущается и явственно прослеживается на протяжении всех средних веков. Отсюда истекает вся романтика рыцарства: мотив рыцаря, освобождающего деву, мотив безымянного рыцаря, чье неожиданное появление и решительная смелость приковывает к себе все взоры, — короче, все пестрые одеяния и сентиментальные фантазии, присущие *pas d'armes*.

Здесь мы также видим связующее звено между рыцарским идеалом и пасторалью, которые тесно переплетаются между собой. Рыцарский идеал приносил напряженность и увлекательность в вялую фантазию, порождавшую картины вольного и безмятежного наслаждения среди райской природы, он обострял и облагораживал любовное томление элементом приключения и борьбы.

Не составляет труда подобрать примеры непосредственного воздействия рыцарского идеала на историю. Прежде всего, куртуазные напевы и рыцарский роман, как и пастораль, внесли исключительно весомый вклад в развитие эстетического сознания. Затем, рыцарский идеал постоянно оказывал влияние и на политические, и на общественные отношения и события. Даже тот, кто считает необходимым доискиваться экономических первопричин каждой войны эпохи средневековья, вынужден будет признать, что в методах ведения военных действий и в их результатах всякий раз ощутимо сказывается влияние рыцарского идеала. Короли подвергают себя опасности в самый разгар битвы. Они ставят на карту также и жизнь своих лучших военачальников, договариваясь с врагом о массовых поединках. Подчас рыцарь соглашается на битву с вражеским войском только ради защиты или спасения рыцарской чести. Продвигаясь по землям врага, рыцари выбирают только прямые дороги, поскольку

воспользоваться обходным путем было бы не по-рыцарски. Успех, достигнутый в битве, ставится на чашу весов ради соблюдения формального обычая, по которому тот, кто считается победителем, должен провести ночь на поле боя¹⁹.

И, наконец, рыцарский идеал очень долго сохранял свое небывало сильное влияние в качестве формы жизни. Все высшие формы бюргерской жизни нового времени фактически основываются на подражании стилю жизни средневекового дворянства. Герои из рядов третьего сословия, такие как Филипп ван Артевельде или Жак Кер, живут в полном соответствии с рыцарскими идеалами и нормами. Нормы рыцарского поведения, куртуазные представления о доблести и чести произвели на свет современного джентльмена.

При рассмотрении пасторального и рыцарского идеалов следует указать еще на один момент. Напрашивается вопрос: почему оба они вновь и вновь выступают на передний план, переживая ряд последовательных возрождений? С рыцарством здесь дело обстоит совершенно так же, как с и пасторалью: рыцарство XIV века — это сознательное воссоздание рыцарства XII и XIII веков, то же — с рыцарством XV века, и так далее. Причина непрерывной смены периодов ослабления и возрождения этих идеалов состоит, несомненно, в изрядной доле сопутствующей им фальши. Как раз в тот момент, когда кажется, что рыцарский идеал готов осуществиться, он внезапно утрачивает свою вдохновляющую силу. Содержание словно бы то и дело ускользает из заключающей его формы, — и всякий раз, как самообман достигает своего апогея, при котором предметом фальсификации становится уже самая жизнь, на смену оболъщению приходит период разочарования и реакции. Чтобы в повседневной жизни поддерживать видимость рыцарской чести, требовалось неслыханное по силе притворство. Лишь в ближайшем окружении сюзерена это удавалось без чрезмерных усилий. На рубеже XIV и XV веков для разрешения споров между князьями нередко затевались поединки, к которым велись самые серьезные и сложные приготовления, однако сами поединки почему-то постоянно откладывались, равно как откладыва-

лись и провозглашенные во многих обетах крестовые походы. Прославленная *Combat des trente**, цвет рыцарских сражений, по свидетельству самого Фруассара, протекал далеко не по-геройски²⁰.

Приверженцы идеала отдавали себе отчет в пронизывающей его фальши, — поэтому рыцарская идея почти с самого начала по временам изменяет себе, облекаясь иронией и насмешкой, обращаясь в пародию и карикатуру. Дон Кихот — всего лишь последнее и самое яркое проявление этой иронии, вообще же ироническую линию можно проследить на протяжении всего средневековья. В прославленном *vœu du héros*** при дворе Эдуарда III Английского весь рассказ о событиях ведется в насмешливо-язвительном тоне. Ян ван Бо-монт, несравненный рыцарь из Генегау, заявляет цинично, что посвятит себя служению тому, кто ему больше заплатит²¹. Пасторальный идеал был защищен от такого постоянного саморазрушения значительно лучше, поскольку имел меньше точек соприкосновения с действительностью. Даже Сервантес относился к пасторали серьезно.

— Между тем еще одно завершающее весь ряд представление о совершенстве приобретало все большую власть над умами. На сей раз речь идет об историческом жизненном идеале греко-римской античности. Неверно было бы думать, что античный идеал воссиял над Италией XV века, а затем и над человечеством подобно солнцу после долгой ночи. На самом деле образ античности сиял над миром на протяжении всего средневековья; просто виден он был неотчетливо и неполно. Не только схоластика и изучение римского права несут в себе печать возрождения античности, но уже и в самой рыцарской форме жизни, воспринимаемой нами как нечто типично средневековое, присутствуют важные элементы классической древности. Система куртуазной любви в немалой степени производна от латинских источников.

* Битва тридцати (франц.), — прим. издателя.

** обете (франц.), — прим. издателя

Овидий и Вергилий были для средневековой мысли чем-то большим, чем книгами с красивыми иллюстрациями²².

Как неверна та точка зрения, согласно которой античный идеал родился лишь в эпоху Ренессанса, так же точно ошибкой было бы считать, что он вытеснил средневековый рыцарский идеал. Напротив, то, что мы называем Ренессансом, представляет собой органическое сочетание античных, рыцарских и христианских устремлений, при этом элемент античности оказывается хоть и ведущей, но далеко не единственной движущей силой²³. В своем превосходном сочинении Буркхардт показал нам, что основными свойствами человека эпохи Ренессанса были чувство чести и жажда славы. И представляется, что эти свойства можно с большим основанием считать прямым продолжением рыцарской доблести, чем плодом классических штудий²⁴. Не все то античность, что блесит в эпоху Ренессанса: совершенно чуждая античности рыцарская фантазия в романах XVI века об Амадисе все еще продолжает властвовать умами.

Причина яркого, затмевающего все вокруг сияния античного идеала в эпоху Ренессанса состоит в том, что историческая составляющая этого идеала значительно возросла по сравнению с рыцарским идеалом, а также в том, что это был действительно культурный идеал в наиболее полном смысле слова. Античность впервые представила людям средневековья образ жизни, пригодный для подражания даже в самых мелких деталях. Античность давала руководство к действию и служила великолепным примером во всех сферах жизни. С божественной античностью человек мог соотносить свое искусство и науку, стиль письма и красноречие, свои политические воззрения и военную тактику, свою философию и религию; божественная античность способна была оплодотворять его деятельность во всех этих областях. Она давала богатейшую пищу для поддержания идеала.

Происходило именно оплодотворение, а не копирование. Широко известно, что современная наука родилась не из слепого подражания античности, а в результате животворящего усвоения ее духа и формы. Прилежный подражатель

Цицерона или Брута столь же невообразим и невозможен, как и салонный пастушок или идеальный рыцарь. Хотя в понимании античности историческая составляющая преобладала, классический идеал не становился от этого менее ложным, что обнаруживается при попытках гуманистов непосредственно руководствоваться им в жизни. Гуманист, строивший собственную жизнь в соответствии с этим идеалом, подчас человек тщеславный, велеречивый, неискренний и неглубокий, этакий павлин, распускающий хвост, перестал вскоре внушать доверие даже своим современникам. Мы слышим, как над ним смеется Рабле.

Пока мир видел в классической древности объективное совершенство, достойное подражания во все времена; пока древним приписывали значение абсолютного авторитета, словом, пока длился Ренессанс, фактически продолжалось средневековье. Но, как это обыкновенно бывает при изучении любого предмета, ученик как следует усвоил как раз не то, чего искал в книгах. Углубившись в античность, восхищаясь ею и мечтая воскресить ее, человек все более сознавал исторический характер самой античности; стремясь найти некое объединяющее начало, он нашел то, что могло лишь разъединить. На примере античности, отправляясь от ее опыта человек научился мыслить исторически, а научившись, тотчас вынужден был отказаться от исторических жизненных идеалов общечеловеческого характера.

В тот последний раз, когда классицизм, т.е. подражание античности, выступил в роли практического идеала, иначе говоря: модели жизни, буквально повторяющей образец, — в высокопарной фразеологии Французской революции и в искусстве Давида, — он уже производил впечатление анахронизма по сравнению с той свободой, с которой Гете тогда же черпал из античности *современность*.

— С этого времени историческим культурным идеалам общечеловеческого характера, как представляется, приходит конец. Даже романтизм никогда не занимался слепым подражанием средним векам. Имитация исторических форм в изобразительном искусстве XIX века, как, например, псев-

доготика в архитектуре, в данном случае ни о чем не говорит. Историческая правда без прикрас, а также присущее людям неутолимое стремление вернуться назад были к этому времени слишком хорошо осознаны, чтобы современное человечество продолжало искать спасения в следовании воображаемому прошлому. Однако неизбывная потребность в идеалах не исчезает. Культура по-прежнему стремится убежать от себя, вечная тоска по не испорченной цивилизацией жизни не исчезает. Возможно, нам просто не хватает дистанции, чтобы увидеть, что основной мотив пасторали и евангельской бедности в новых формах продолжает жить и теперь — в анархизме, в литературном натурализме, в борьбе за сексуальную свободу.

Таким образом, никто иной как сама история изгнала исторические идеалы, словно сонм легких теней, со сцены человечества. История сама научила человека в стремлении к счастью смотреть только вперед и не одурманивать себя мечтами о прошлом. В прошлом уже никто не ищет идеалов настолько универсальных, чтобы они были способны вдохновить все общество. Однако другие исторические представления, более ограниченные по характеру и более специфичные по содержанию, выдвинулись на передний план именно благодаря историзму нашего времени. О важнейших из них мне хотелось бы сказать несколько слов. Я имею в виду национальные идеалы исторического свойства.

— Национально-исторические идеалы похожи на рассмотренные выше в том отношении, что по природе своей они остаются романтическими несмотря даже на их историческую достоверность. Национализм (я не говорю о патриотизме) без романтизма не существует. Отличаются же эти идеалы от более ранних общечеловеческих идеалов тем, что, как правило, не выступают в роли образцов для непосредственного подражания, но служат лишь лозунгами. К тому же это не столько идеалы счастья, сколько идеалы могущества и славы, самое большее — благосостояния. И, наконец, их этическая значимость своеобразно ограничена: она весьма велика для приверженцев идеала, другими словами,

для представителей определенного племени, государства или народа, и вовсе необязательна для людей, стоящих вне этой общности. Самостоятельную этическую значимость имеют лишь те национальные идеалы, которые воплотились в реально существовавшего героя или вылились в прославленную освободительную борьбу. Счастливы те народы, чьи государства уже имеют такую главу в своей истории, как, например, Нидерланды, или будут иметь, как, скажем, Бельгия. И, напротив, прославление каким-либо народом Тамерлана Хромого или любого иного завоевателя оставляет мир совершенно безучастным.

Подобно общечеловеческому идеалу, национально-исторический идеал, поначалу также мифический, смутный и однообразный, постепенно развивается и становится все более ясным, имеющим отчетливые и устойчивые исторические очертания. Богоподобный герой, каким его знала уже античность, везде одинаков: во-первых, он всегда и всех побеждает, во-вторых, он преданно служит истинному богу, в-третьих, он порою становится изобретателем чего-то полезного и вообще благодетелем всего своего народа. В почитании национальных героев уже на самых ранних этапах ощущается сознательная подтасовка и политический расчет. Всем известно, что в римском сказании об Энее много вымученного. Это же относится в еще большей мере к средневековым национальным идеалам: почти все они — обноски сказания об Энее в переложении для рыцарства. Лишь постепенно народы начинают создавать собственные представления о своих реальных исторических героях или героических эпохах. Представления эти становятся все более разнообразными, наполняются все более богатым и конкретным содержанием, и к ним все отчетливее начинают апеллировать для оправдания нынешних устремлений. Чем выше культура, утверждает Дитрих Шефер, тем явственнее эти исторические тенденции выступают на первый план национальной жизни. «Die Neuzeit ist völlig durchsetzt von diesen Gedankengängen. Die nationale Staatenbildung, die das 19.

Jahrhundert beherrscht, hat vor allem aus ihnen Leben und Kraft gewonnen.»^{25*}

И все же мне кажется, что роль подобных исторических представлений в жизни и чаяниях различных народов и государств зависит не только от уровня их культуры. В первую очередь важно, достиг ли тот или иной народ полного раскрытия своих возможностей или еще только стремится к этому. Можно сказать так: на недовольный своей судьбой народ история всегда оказывает как бы возбуждающее действие. Отсюда то необыкновенное значение, которое история играет в жизни балканских народов: греков, румын, сербов и болгар. Поскольку эти народы этнически безнадежно перемешаны и живут сообща на обширной общей территории, они болезненно, притом в самой тяжелой форме, одержимы стремлением к национальному объединению, ими владеет живейшее стремление к экспансии, к созданию Великой Сербии, Великой Болгарии, Великой Греции. Греки, болгары и сербы поочередно преобладали на полуострове и держали друг друга в подчинении. Но чтобы вернуться к этому великому прошлому, каждому из балканских народов нужно перенестись назад, отбросив длительный период общего для них всех турецкого ига. Это сообщает национальным идеалам нечто мифическое: сербский король Стефан Душан и болгарский царь Симеон во многом похожи на архаичных национальных героев. Для обоих славянских народов дело усугубляется еще предрасположенностью к романтике, вообще свойственной славянам, так что их исторические воспоминания становятся необыкновенно действенным фактором народной жизни.

Подобная предрасположенность, носящая скорее романтический, нежели исторический характер, представляет собою вторую важную черту, определяющую вес и значение

*Этими представлениями пронизано все Новое время. Жизненную силу придало им в первую очередь образование национальных государств, под знаком которого протекает XIX столетие (нем.). — Прим. издателя.

национально-исторических представлений. Третий момент — это вопрос о том, насколько гармонична связь между нынешними национальными чаяниями и историей народа в целом. Весьма примечателен тот факт, что для немецкого национального сознания история значит намного больше, чем для такового других западноевропейских народов. Франция и Англия тоже ведь достаточно горды своей благородной историей, однако они апеллируют к ней намного реже. Что значит для них Веркингеторикс или Боадия по сравнению с Арминием для немецкого сознания! «Was das deutsche Volk», — говорит упомянутый автор, — «der historischen Richtung seines Sehns und Sinnens, der Erinnerung an seine Vorzeit, verdankt, ist ja geradezu überwältigend. Die “Vergangenheit ist unser geistiger Besitz, einer unserer wertvollsten”.»*

Такое различие вытекает из ярко выраженных исторических наклонностей немецкого народа. Что касается Франции, то здесь существенен другой из названных мной моментов. Французскому национально-историческому сознанию мешают многочисленные переломы во французской истории. В ней слишком много того, о чем хотелось бы отчасти, а то и вовсе забыть. Французский национализм уже с самого начала не может от души, без оглядки предаться воспоминаниям о величии Меровингов или Каролингов, потому что и те, и другие были чересчур германцами. Как бы ярко ни сияла слава французских королей и императоров, народ Французской республики не может почитать ни короля-солнце, ни даже Наполеона в качестве символа своего столь трогательно и нежно любимого отечества. С другой стороны, и принципы 1789 года слишком абстрактны для этого. В результате для французов значение национального символа все в большей степени приобретает лишь одна историческая

*Просто поразительно, сколь многим немецкий народ обязан историческому направлению своих чаяний и своего умонстроения. «Прошлое есть наше духовное достояние, одно из самых драгоценных для нас» (нем.), — прим. издателя.

фигура, но фигура эта столь прекрасна, что подобной ей не-
найдется в истории ни одного другого народа: речь идет о
Жанне д'Арк.

У немцев, напротив, заметна потребность использовать
все богатство национального прошлого в качестве исходного
материала для отливки из него живых символов народной
силы, имеющих хождение далеко за пределами научных кру-
гов, занятых изучением истории. Арминий, Барбаросса,
Лютер и Дюрер, Фридрих Великий и Блюхер — все они
имеют непосредственную жизненную значимость для не-
мецкой души. Невозможно переоценивать значение, которое
современная немецкая культура, особенно Вагнер, отводит
скандинавской мифологии. Весьма примечательно, что
теперь даже и Бисмарк приобрел значение национального
символа и едва ли не национального героя, так что он пред-
стает нам со всей атрибутикой героических времен и в сред-
невековом обличье, почитаемый как «*die zeitlos ideale
Verkörperung unseres (sc. des deutschen) Volkstums*», когда
его «*hinaufrücken ins altgermanische, in die früheste Heldenzeit
unseres (sc. des deutschen) Volkstums*».*.²⁶

В том предпочтении, с которым немецкая мысль ориен-
тируется на изначальную культуру, угадывается мощь, — но
здесь же, возможно, таится и немалая опасность. Найдется ли
какое-либо реальное содержание для всех этих исторических
символов в том могущественном порыве, с которым у нас на
глазах народ осуществляет свое волеизъявление? не место
ли им в царстве риторики, среди цветистого стиля и ярких
метафор? Так мы возвращаемся к вопросу, оставленному
мною без ответа в самом начале. Без ответа остается он и сей-
час, ибо невозможно установить, насколько велико то воз-
действие, которое оказывают подобные исторические образы
на ход истории. Допустим на минуту, что это влияние край-

* вневременное идеальное воплощение нашей (немецкой) государст-
венности... возводят к старогерманской эре — древнейшей герои-
ческой эре нашей государственности (нем.), — прим. издателя.

не незначительно. Тогда мы тотчас вновь оказываемся перед другим, тоже упомянутым, вопросом. Исторический элемент в мышлении народа сосредоточен не только в законченных исторических представлениях, он кроется во всех наших понятиях и ощущениях: отечество, слава, геройская смерть, честь, верность, долг, государственные интересы, прогресс; исторический элемент присутствует в каждом деле и каждом слове. В нас непрерывно говорят мудрость и заблуждения веков — и вновь и вновь появляются люди, которым это не по сердцу, которым кажется, что история душист нас...

Мы говорили о древнем соблазне отказаться от культуры, убежать от настоящего со всеми его неурядицами и страданиями. Во времена, подобные нынешним, соблазн этот получает над нами особую власть. Но куда бежать? Путей для бегства по-прежнему достаточно. Хотя прошлое уже не сулит нам прекрасных грез о безмятежном совершенстве, которое вот-вот может вернуться, красота и мудрость минувшего и теперь даруют сладкое забвение всем, кто его ищет. Способно ли будущее дать больше? Мы можем взглянуть на наш мир с фантастически большого расстояния и сказать: не пройдет и трех тысяч лет, как все сумасшествие сегодняшней борьбы, ее нелепости и ужасы, судьбы государств и народов и даже интересы культуры, кажущейся сейчас самым большим нашим достоянием, будут столь же мало занимать человечество, как нас сейчас занимают ассирийские войны. Вы скажете, что это довольно слабое утешение, что оно — не более, чем еще одно средство забыться, уйти в прошлое. А ведь достичь подобной невозможности можно и с меньшего расстояния: достаточно взглянуть на все происходящее глазами погибших. Это всегда кратчайший путь к освобождению. Тот, кто хочет бежать от настоящего с его историческим бременем, должен отказаться от жизни. Но тот, кто хочет нести это бремя и все же карабкаться вверх, найдет четвертый путь, сводящийся к непосредственной деятельности; нужно что-то делать, — при этом неважно, воюешь ли ты в траншее или занимаешься

другой серьезной работой. Отдавать себя — вот начало и конец любого жизненного учения. Не в отказе от культуры, но в собственном я заключено освобождение.

Господа кураторы Лейденского университета! Позвольте поблагодарить вас за то доверие, которое вы оказали мне, представив меня к назначению на должность профессора. Если бы можно было измерить, сколь драгоценно моему сердцу прежнее поле деятельности, которое я оставляю ради этой кафедры, вы воочию увидели бы, как высоко я ценю ваше доверие. Со своей стороны, я постараюсь оправдать связанные со мною надежды.

Господа профессора, мои глубокоуважаемые новые коллеги и члены философско-филологического факультета! То, что мне предстоит занять рядом с вами место, столь внезапно и безвременно освободившееся, огорчает меня не менее глубоко, чем вас. Доброжелательность, с которой вы встречаете меня, придает мне смелости. Вверяю себя вашей благосклонности.

Глубокоуважаемый господин Блок! Под вашим руководством я приступал к научным занятиям историей. Позднее мне представилась возможность продолжать в Гронингском университете традиции, значительной своей частью обязанные Вашей деятельности. Для меня большая радость занять теперь место рядом с Вами в качестве Вашего сотрудника. Это не помешает мне по-прежнему видеть в Вас учителя и в качестве ученика обращаться к Вам за дружеским советом.

Мои коллеги и друзья по Гронингену! Я покидаю вас, но не считаю порванными узы, связывающие меня с Гронингским университетом и со всеми вами. Благодарю вас за все, что вы дали мне. Вспоминайте обо мне, как я буду вспоминать о вас. Дамы и господа студенты, особенно вы, будущие мои ученики! Уже во второй раз я призван занять место

человека, столь искренне оплакиваемого вами. Мне хорошо известно, какие качества заставляли вас так высоко ценить его, ибо, не будучи его учеником, я тем не менее испытал на себе очарование его ясной простоты, живого интереса к работе коллег, щедрости, с которой он отдавал то многое, что имел. Не знаю, смогу ли я дать вам все это в той же мере, но прошу вас: начните доверять мне, как доверяли Бюссемакеру, и приходите ко мне, как приходили к нему, — я же постараюсь дать вам все, что в моих силах.

ПАТРИОТИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА¹

Предисловие

К концу жизни ван Волленховена, в его вечно неутоми-мом, созидательном, будоражащем научную мысль мозгу ро-дилась идея проведения за счет фонда Лейденского универ-ситета нерегулярных исторических чтений, адресованных студентам всех факультетов. Назвал он эти чтения так, как в средние века, на заре своего существования, назывались сами университеты: *Studium generale*. Однако до осуществле-ния своего замысла ван Волленховен не дожил.

В 1934-1937 годах в задуманных ван Валленховеном чте-ниях принимали участие профессора П. Схолтен, Й. А. Й. Бархе и Х. ван дер Леу. Вслед за ними и я получил от универ-ситетского фонда приглашение выступить с тремя лекция-ми. Они были прочитаны в Большой аудитории универ-ситета 14-го, 21-го и 28-го февраля 1940 года, а теперь, как и доклады моих предшественников, выходят в свет отдельным изданием.

Не следует подходить к этим лекциям с преувеличенной меркой и ждать от них глубокого и всестороннего анализа одной из важнейших тем исторической науки. Я прошу чита-

¹ Последующие надстрочные номера отсылают к примечаниям ав-тора на стр. 218.

теля рассматривать их лишь как путешествие по некой холмистой местности, во время которого со многих возвышенностей открываются примечательные виды.

Лейден,
февраль 1940.

I. Средневековье

В наш жестокий век явственно обозначились две силы, в тисках которых (к добру это или не к добру) бьется, как в некой лихорадке, мировой организм. С одной стороны — патриотизм: желание сохранить и защитить все свое, все, чем дорожит сердце, — желание, неизбежно связанное с тяжелейшими испытаниями, требующими героической борьбы и терпеливого служения; с другой стороны — национализм: безудержная жажда установления собственного господства, стремление к тому, чтобы твой народ или твоё государство главенствовали над другими народами и государствами и самоутверждались за их счет.

Патриотизм, подумает глупец (ибо все мы глупцы), входит в число наших достоинств, тогда как национализм — в число чужих недостатков. Но обязательно ли нужно сразу приписывать слову *национализм* отрицательное значение? Это зависит от двух моментов, именно: от мировоззрения, которого человек придерживается, и от языка, на котором он говорит. Для приверженца любой из разновидностей христианства уже в самом определении национализма как стремления к господству содержится оттенок осуждения, — при условии, конечно, что такое определение правильно. Мы, таким образом, вынуждены задаться вопросом о значении слова *национализм*, каковое, как выясняется, далеко не везде и не всюду одинаково. Вообще, суффикс *изм* вовсе не обязательно придает слову негативный оттенок, а набор слов с корнем *национал* в различных языках различен. Так, в голландском языке существуют словосочетания *сознание на-*

циональной принадлежности, национальные чувства, национальное самосознание, отчетливо противопоставляемые слову *национализм*, в то время как английский язык для выражения всех этих оттенков смысла обходится одним только словом *национализм*. Словом *национализм* можно оттенить тот факт, что где-то преобладает принцип организации по национальному признаку или что существует стремление действовать такой организации. Исходя из противопоставления национализма и патриотизма, представляется правомерным трактовать национализм как умонастроение, которое по своему эмоциональному накалу переходит все разумные границы — и потому обращает благо во зло.

Эти предварительные определения используемых далее терминов не лишним было бы сопроводить напоминанием о том, что подобные исторические термины общего характера никогда не обозначают точных величин, для которых можно было бы составить математические формулы. Эти термины выражают лишь то, что сейчас люди под ними понимают или хотят понимать. *Verba valent usu** — утверждение совершенно неверное для точных наук, например, для физики, но очень важное для историка, который должен помнить об этом постоянно, даже если он использует слово, на первый взгляд всем абсолютно понятное.

Что такое патриотизм? — Ученое слово, обозначающее любовь к отечеству. — Неужели все так просто? — Думаю, что нет. Для нас, голландцев, любовь к отечеству означает, что мы любим Нидерланды, что они милее нашему сердцу, чем любая другая страна. Следовательно, «любовь к отечеству» — чувство, и не более того. Напротив, в слове *патриотизм*, как мне кажется, заключено некое осознанное понимание и стремление, выражающее общие для всех обязанности по отношению к своей стране, содержание которых определяется единственным высшим принципом: нашей совестью. Граница между патриотизмом и национализмом, независимо от

* смысл слов вытекает из их употребления (лат), — прим. издателя.

того, какое значение вкладывается в этот последний термин, с теоретической точки зрения совершенно ясна: первый из них — субъективное чувство, второй — объективная, видимая для окружающих позиция. На практике же, когда речь идет о конкретных случаях, провести границу между этими двумя понятиями бывает подчас очень трудно.

Существует мнение, нередко встречающееся в книгах на исторические и политические темы, будто патриотизм и национальное сознание, не говоря уже о нынешнем национализме, возникли как особые явления культуры сравнительно недавно. Основанием для такой точки зрения служит главным образом тот факт, что слова эти и самая формулировка понятий, действительно, не так уж стары. Слово *патриотизм* впервые появляется в восемнадцатом веке, а слово *национализм* — в девятнадцатом. Во французском языке последнее впервые встречается в 1812 году, а самый давний пример употребления слова *национализм* в английском языке относится к 1836 году, — причем использовано оно было, как это ни странно, в теологическом смысле: в связи с учением об избранных Богом народах. Как уже отмечалось, в английском языке термин *национализм* приобрел несравненно более широкое значение, чем в голландском, французском или немецком, из чего можно заключить, что это английское слово всего за один век сделало весьма неплохую карьеру.

Поспешный вывод о том, что явления патриотизма и национализма исторически молоды, ибо отвечающие им слова и понятия появились сравнительно недавно, создает обманчивое представление об этих предметах. Основанием для этой иллюзии служит древняя привычка человеческого мышления признавать существующим лишь то, что имеет имя. Если рассуждать подобным образом, то придется признать, что в средние века не существовало космических лучей. Или, если взять пример из области не столь отдаленной, по той же причине — из-за отсутствия имени и понятия для самого явления — долгое время отрицалось, что в средние века существовало государство. Действительно, только эпоха возрождения выдвинула понятие государства и отвечающее

ему слово на первый план, в средние же века государство как явление оттеснялось на задний план церковью. Для обозначения политических понятий средневековое общество весьма успешно обходилось словами *regnum* и *civitas***.

При более пристальном взгляде ясно, что в старину, несомненно, имелись некие эквиваленты патриотизма и национализма; мало того, можно утверждать, что с течением времени оба эти чувства лишь приобрели более отчетливые очертания, но по сути своей не изменились. В своей основе они остались тем же, чем были всегда: примитивными инстинктами человеческого общества.

О далеком прошлом достаточно нескольких слов. В самом деле, разве не считала себя каждая древняя нация избранной и потому обладающей правом управлять другими? разве не свойственно это вообще всем архаическим народам? Не являются ли такие представления пережитком первобытного прошлого? Причудливым образом переплетаясь с религией, идея избранности укреплялась, выливаясь в непомерную гордость и манию величия, которой страдали египетские фараоны и вавилонские цари. Здесь уместно говорить о религиозном национализме в полном смысле этого слова. Отвечало ли религиозному национализму правителей столь же глубоко коренящееся чувство подданных, позволяющее допустить наличие патриотизма? Несомненно одно: в подданных не менее глубоко засели подобоострастие, преданность и обожание. Заключало ли в себе народное сознание еще и любовь, привязанность, верность? Специалисты по древним цивилизациям вольны ответить на этот вопрос во всеоружии своих ненадежных источников.

Картина становится намного яснее, едва мы переведем взгляд с Ближнего Востока на греков. В эллинском мире, при сильно развитом патриотизме, национальное сознание едва намечалось. В городе-государстве, в полисе, Эллада создает исключительно благоприятную почву для чувства родины,

* царство, государство (лат.), — прим. издателя.

которое, однако, отличалось узостью и имело политическую основу. Греция дала нам слово *отечество* — *patris*. Уже когда оно впервые встречается в этом своем значении, оно несет в себе существенные элементы патриотического чувства. Речь идет о пятой песни *Илиады*, где Пандар говорит Энею: «Если я вспять возвращусь и увижу моими очами / Землю родную, жену и отеческий дом наш высокий.»*² Возвратиться, увидеть вновь — это всегда будет самой волнующей стороной внушаемого родиной чувства. Помимо нежности при мысли о собственном небольшом кусочке земли превозносилось чувство общности всех эллинов в противовес *не-эллинам* — варварам. Но точно так же, как и в других подобных случаях существования малых национальных образований внутри охватывающей национальной общности, это чувство ни на минуту не исключало самой жестокой вражды между греческими племенами и государствами. Его можно назвать национальным сознанием, но не национализмом. В греческом мире не было места для национализма. Поразительная по размаху колонизация эллинами Средиземноморья не носила формы национальной экспансии, несмотря даже на прочные и долговечные связи между колониями и метрополиями. Говоря о недооценке древними национального элемента в строгом смысле этого слова, невозможно обойти молчанием тот весьма показательный факт, что в своих рассуждениях о государстве ни Платон, ни Аристотель ни словом не обмолвились о роли национального фактора в структуре полиса.

Эллинистические империи, возникшие после Александра Македонского, восприняли греческие представления о родине и нации как нечто само собою разумеющееся, в большей или меньшей степени привязав их к условиям Востока. Пожалуй, наиболее отчетливо пафос любви к родине звучит в его иудейско-эллинистическом варианте, который знаком нам по Второй книге Маккавейской. Иуда Маккавей

* в переводе Н. Гнедича, — прим. переводчика.

обращается к своим сторонникам с призывом не мириться с врагом и не страшиться его силы. Он напоминает о том, как враг надругался над народными святынями, о том, как Всемогуший помог иудеям в сражениях против Синахериба и против галатов. «Этимися словами он внушил им храбрость и готовность умереть за закон и отечество»³.

Хотя латинское слово *patria* образовано, несомненно, на основе греческого *patris*, римское понимание родины складывалось практически независимо от представлений греков. Оно развилось в период расцвета республики в форме пламенного культа национальных героев, олицетворявших славу отечества и доблесть его сынов. Вспомним многочисленные примеры раннего римского патриотизма, героизма и гражданственности: Курция, добровольно шагнувшего в пропасть, Дентата Курия, который предпочел питаться репой, но не польстился на золото самнитов, Регула, сдержавшего данное врагу слово и вернувшегося во вражеский стан, — короче, весь сонм памятных образов, которым позднее суждено было сыграть столь важную роль в политическом и литературном воспитании европейцев. Чувство любви и нежности к родине никогда не ослабевало у римлян, ибо средоточием его был сам Рим, со всеми его святилищами, традициями и символами; не поколебалось оно и в эпоху экспансии, когда Рим присоединял одну провинцию за другой. Это чувство оставалось активным и действенным, поскольку в основе его лежала практика политической жизни, упорядоченной юридически и конституционно.

Идеал города-государства, господствующего над огромной державой, сохранялся на протяжении всей многовековой истории Римской империи. Империя никогда не была национальным государством. В ней насчитывались десятки народов, и государство мало интересовалось особенностями того или иного национального характера. Именно поэтому здесь не было места истинному национализму. С течением времени это множество народов с неизбежностью утрачивало ту любовь к отечеству, которая была столь сильна у древних ла-

тиян. Что же касается терминов, то слово *patriotes* означало по-гречески всего лишь *соотечественник, земляк*, и носило несколько принижающий, если не пренебрежительный оттенок по сравнению со словом *polites* — *гражданин*. Латынь заимствует это слово значительно позже. Слово *patria* имело в период античности несколько иное значение, чем для нас: оно не было столь тесно связано с местом, где человек родился. Цицерон, носивший почетный титул *pater patriae**, говорил о том, что каждому человеку даны два отечества: одно — природой, другое — государством (*una naturae, altera civitatis, иначе — loci et iuris***). Но праотец Эней сам искал и нашел для себя новую родину в Италии, поэтому когда Цицерон произносит *ubicumque est bene ibi patria****, то в его словах нет той циничной иронии, которую мы склонны в них вкладывать.

Уже во времена св. Павла христианство возвысилось над пестрыми национальными и государственными различиями. Христианское учение отказывалось заниматься вопросами политики или народного единения, сторонилось государственных дел, отдавало кесарю кесарево. Однако религиозному институту — церкви — для выполнения ее земного назначения требовалась прочная политическая основа, поэтому поборники веры христовой не довольствовались принципами «кесарю кесарево» и «всякая власть от Бога». Необходимо было христианское учение о государстве. Мы видим, как блаженный Августин возводит его в своем монументальном труде *De civitate Dei*****, где он вручает земной власти (уже изначально осуждаемой) две основных функции: охранительную по отношению к гражданам, без которой немыслимы ни человеческое общество, ни мирная

* отец отечества (лат), — прим. издателя.

** места и права (лат), — прим. издателя.

*** всюду, где хорошо, там отечество (лат), — прим. издателя.

**** О граде Божиим (лат), — прим. издателя.

жизнь, и охранительную по отношению к церкви, которой государство призвано служить до Второго Пришествия. В трактате *Imperator christianus** утверждалось, что Римская империя, последнее из четырех мировых царств из откровения пророка Даниила, очищенная от грехов и освященная, просуществует еще долго. Но в то самое время, когда Августин писал *De civitate Dei*, почва как раз уходила из-под ног христианского императора — по крайней мере на Западе, где жил Августин. Поэтому неудивительно, что Августин в принципе отдавал предпочтение тому государственному порядку, при котором «все государства будут малы и будут жить друг с другом в полном согласии, так что в мире сложится великое множество государств, народы которых будут жить в добром соседстве друг с другом подобно тому, как в городе соседствуют обитающие во множестве домов семьи»⁴. Здесь впервые отчетливо формулируется принцип самостоятельных государств, живущих в согласии. Прежде чем окончился век Августина, на Западе действительно возникает ряд государств, ставших до или после своего возникновения христианскими и пребывавших друг с другом почти в таком согласии, о котором мечтал Августин. Государства эти — остготское в Италии, вестготское по обе стороны Пиренеев, а также королевство вандалов в Африке и франков — в Галлии, — старались по мере сил следовать в национальном вопросе традиции римской императорской власти. Но вот из государства франков неожиданно донеслись звуки трубы, возвестившей миру о возникновении совершенно нового чувства — национальной гордости, в которой, сколь бы это ни казалось противоречивым, восславление даруемого христианством блаженства и вечного спасения преспокойно уживалось с примитивным высокомерием, с варварской спесью, порождаемой племенной принадлежностью. Речь идет о вступлении к Салической правде. Это вступление, написанное, вероятно, во времена несколько более поздние, чем

* Христианский император (лат), — прим. издателя.

само законоуложение, отчетливо передает дух эпохи Меровингов. В нем говорится о «достославном народе франков», ведущем свое начало от Бога, «смелом в бою, верном в мире, мудром в совете», и заканчивается оно победоносным возгласом: «Слава Христу, любящему франков! Да защитит Он их государство, да преисполнит Он всех правителей светом милости своей, да охранит Он их войско, да укрепит Он их веру, да дарует Он им радость и счастье! Ибо народ сей решительно сбросил с себя тяжкое ярмо римлян и, обратившись к истинной вере, покрыл золотом и драгоценными камнями тела святых мучеников, которых римляне сжигали на кострах, обезглавливали, бросали на растерзание диким зверям.»

Это означало зарождение европейского национализма, отныне начавшего свое шествие сквозь века. На пути к своей политической зрелости христианский Запад пытается преодолеть противоречие между идеалом универсального христианского мирового порядка и непосредственной реальностью с ее неустойчивыми институтами власти, варварскими по своей природе и римскими по традициям. В течение добрых шести столетий латинский христианский мир шаг за шагом разделяется на ряд королевств, границы которых еще весьма несовершенно соотносятся с границами расселения народов. Добрососедские отношения, которые Августин считал необходимой предпосылкой сосуществования народов, уже отошли в прошлое, но и время больших войн между нациями еще не наступило. Отдельные же завоевательные походы тех лет были настолько быстротечны, что в постоянном и жестоком (хотя и не массовом) насилии в Европе не им принадлежала решающая роль. Что же дала раннему средневековью идея универсальной власти, стоящей над множеством отдельных государств? С одной стороны, она способствовала возрождению императорской власти при Карле Великом, с другой — установлению верховной светской власти папы римского.

Возникшее в средние века противостояние папы и императора рассматривалось в свете теории о том, что эти две власти подобны двум небесным телам, которые Бог поместил

над землей во время сотворения мира. Однако такие символы стали использовать для истолкования сути императорской власти не раньше, чем во времена Фридриха Барбароссы. Императоры, правившие после Карла Великого, видели в подвластной им Европе продолжение Римской империи, однако не претендовали на всемирное господство. Этот идеал впервые находит свое выражение в послании Гогенштауфена одному из епископов: мир, пишет представитель знаменитой династии, нуждается не более чем в одном Боге, одном папе и одном императоре⁵. Фактическая же власть императора никогда не основывалась ни на подобных притязаниях, ни на самом императорском титуле.

Более принципиальным и в известном смысле более успешным было притязание на мировое господство со стороны папы римского. На первый взгляд могло казаться, что преемник святого Петра всего лишь впадает в иерархическое высокомерие, когда, не довольствуясь верховной властью над церковью и непрерываемым авторитетом в области христианского вероучения, требует еще, чтобы в нем почитали носителя верховной светской власти, вознесенного над всеми правителями и народами мира. На самом деле это требование непосредственно вытекает из самой сути учения. Святой престол ни в коей мере не отрицал власти светских князей. Он претендовал лишь на то, чтобы судить их деяния, будь то в деле законодательства или правления; чтобы произносить оценку словам и поступкам правителей, отправляясь от христианских представлений о добре и зле — и тем самым главенствовать над ними *ratione peccati* (по причине их греховности). Но оценка королевских поступков с позиций религии неизбежно влекла за собою их оценку и с правовой точки зрения. И вот начиная с понтификата Николая I в IX веке можно видеть, как учение о верховенстве папы над миром приобретает все более отчетливые формы и все чаще воплощается в жизни; папы смещают королей, жалуют земли, вмешиваются в действующие в странах законы.

Затянувшийся на столетия спор о главенстве между папой и императором не оставлял места дальнейшему развитию национального самосознания и чувства родины. Однако эти две концепции власти не помешали процессу оформления национальной структуры Европы. После распада державы Каролингов продолжается постепенная консолидация европейских государств и народов. Франция, Англия и Шотландия на севере Европы, Арагон, Кастилия и Португалия на юго-западе, затем Сицилия, Венгрия и Польша — к 1150 году уже представляли собою самостоятельные единицы в латинском христианском мире, заняв в нем определенное место. Притязания империи, называвшейся Римской, но принадлежавшей немцам, не могли помешать тому, что и при наличии императорской власти короли всех этих государств требовали и добивались для себя полного суверенитета — или, если использовать средневековый термин, императорского достоинства. К тому моменту, когда борьба за верховную власть между папой и императором достигла своего апогея (то есть около 1200 года), процесс оформления национальной структуры Европы уже почти завершился. Интересное толкование этого факта можно найти в одном из видений святой Хильдегарды из Бингена. Задолго до появления на исторической арене двух величайших универсалистов средневековой Европы — Генриха VI Гогенштауфена и папы Иннокентия III — она предсказала крах императорских притязаний на мировое господство и в качестве причины этого краха назвала подъем национальных настроений. «В те дни, — говорит она, — императоры Римской империи, став слабыми в славе своей, лишатся той силы, которой они раньше удерживали свою империю. Короли и князья многих народов, ранее покорных Римской империи, освободятся от ее власти и не будут ею более поработаемы. И так Римская империя рассеется в небытии. Ибо каждая область и каждый народ поставит над собою своего короля, дабы повиноваться лишь ему»⁶.

Таким образом, около 1100 года обозначились направления, в которых в дальнейшем развиваются чувство родины и национальное самосознание европейских народов. Какое

же значение имели в это время слова *patria* и *patio* и как они употреблялись? Отправляться здесь следует от латинских терминов, поскольку оба эти понятия формировались на основе текстов, написанных на латыни. С окончанием античности слово *patria* не исчезло. Оно сохранилось в словосочетании *caelestis patria* — небесная обитель, небесная родина, — и уже этого было вполне достаточно, чтобы понятие отечества продолжало существовать. В значении земной родины это слово несколько раз встречается в латинском Ветхом Завете. Но именно в земном значении слово *patria* утратило то полнокровное звучание, которое оно имело во времена Древнего Рима. Оно превратилось в административный термин, почти лишенный эмоциональной окраски. Хотя само чувство не исчезало, свидетельством чему может служить выражение *Douce France** в *Песне о Роланде*, но со словом *patria* эти чувства больше не соотносились. Слово *patria* стало обозначением определенной судебно-административной единицы — графства или объединения нескольких графств. Оно полностью соответствовало тому, что называлось латинским словом *terra* или французским *paus*: им обозначались многочисленные *земли*, придававшие Франции до эпохи революции такое очарование и навсегда исчезнувшее с разделением страны на департаменты. Поэтому в XII и XIII веках часто встречаются такие обороты как *tota patria congregatur*, то есть вся область (или общая земля) созывается. В одном документе говорится о том, что кого-то выслали из его *patriae*⁷. Границы такой административной единицы, как правило, естественным образом совпадали с границами родной земли, к которой человек был привязан всею душой — как можно быть привязанным только к *Heimat***. Здесь и обнаруживается вполне сформировавшееся чувство родины в узком смысле этого слова, или если угодно, чувство любви к

*милая Франция (старофр.), — прим. издателя.

** родина (нем.), — прим. издателя.

родной земле. Изредка в текстах этого времени можно встретить слово *patria*, употребленное в ином значении, вероятно, под влиянием классической литературы. Знаменитый ученый конца X века Герберт, ставший впоследствии папой Сильвестром II, иногда использует слово *patria* в более широком, а иногда в более узком смысле, — но замечательно, что он никогда при этом не имеет в виду ни Аквитанию, откуда был родом, ни Овернь, его *paus* в узком смысле слова, ни тем более французское королевство в целом. Именно Герберт приложил много усилий для того, чтобы французская корона перешла от династии Каролингов к Гуго Капету. Поэтому особенно удивительно, что для Герберта понятие *patria* было связано с Оттоном II и Оттоном III, германскими императорами, которым он служил верой и правдой. И как раз в его сочинениях слово *patria* несет почти ту же смысловую нагрузку, что и в античности или в наше время. Оттона III он поучает, говоря ему, что тот может снискать себе славу, если будет «подвергать себя величайшим опасностям во имя отечества и веры, блага своих ближних и всеобщего блага (*rei publicae salute**)». Отсюда можно заключить, что на рубеже X и XI веков французы и немцы практически не сознавали того, что в политическом отношении они на самом деле живут раздельно.

Значительно чаще, чем *patria*, продолжает в средние века употребляться унаследованное от античности слово *patrio*. Однако значение его по сравнению с классической латынью изменилось. Происходя от того же корня, что и *patus*, *natura*, это слово обозначало несколько более широкую общность людей, чем *gens* и *populus*, хотя различия между этими тремя терминами отнюдь не были ясными и отчетливыми. Для обозначения народов, упоминаемых в Ветхом Завете, Вульгата использует на равных правах латинские слова *gentus*, *popu-*

* для всеобщего блага (лат.), — прим. издателя.

les, и nationes*. Такое употребление в библейском тексте и задавало в ту пору значение слова patio. Оно характеризовало несколько неопределенную общность людей, сложившуюся на основе племенного, языкового и территориального единства, взятого иногда в более узком, а иногда в более широком смысле. Нациями называли бургундцев, бретонцев, баварцев, швабов, но также и французов, англичан и немцев. Административного значения, по аналогии со словом patria, слово patio не имело. Поначалу оно не имело и политического значения. Постепенное уточнение понятия patio связано было с развитием отношений между отдельными людскими общностями, которые с одной стороны стремились к независимости, с другой же стороны — к внутреннему единению. Блеск королевской власти, верность сюзерену, защита со стороны епископа, милость господина, на которого работаешь, — создавали множество связей, присущих тесно сплоченной общине. Лишь наиболее охватывающие из связей этого рода передавались понятием patio. Но сколь бы ни были широки или узки эти связи, лежащее в основе понятия patio, чувство сводилось всегда к одному и тому же примитивному единству *наших, своих*, с безудержной страстью начинающих ощущать свою сплоченность, едва только им покажется, что другие, чужаки (что бы за этим словом ни стояло), угрожают им или оспаривают их первенство. Это чувство заявляет о себе чаще в виде враждебности, реже — в виде единения. Чем теснее соприкосновение с *не-нашими*, тем острее ненависть. Недаром история не знает вражды более яростной, чем между соседними городами, такими как Генуя и Пиза; города эти, рассказывает Салимбене в своей хронике, разделяло природное отвращение друг к другу, подобное отвращению человека к змее, волка — к собаке. Рассказывая о морском сражении при Мелории в 1284 году, он пишет что только честолюбие, гордыня и тщеславие побуждали жителей двух

* племена, народы, нации (вульг. лат.), — прим. издателя.

славных городов заниматься уничтожением друг друга, «будто бы море было слишком тесно для мореплавателей»⁸. Таким же образом, разве лишь чуть менее страстно, ненавидели друг друга англичане и шотландцы, датчане и шведы, но также и французы, говорившие на *langue d'oïl*, и аквитанцы, говорившие на *langue d'oc*. Форма, в которой проявляются эти чувства, свидетельствует об их происхождении от инстинктов. Автор французских хроник XI века Радульф Глабер упрекает королеву, жену Робера I, в том, что она впустила во Францию и Бургундию аквитанцев, этих тщеславных и легкомысленных людей, чьи нравы столь же нелепы, как и их одежды: чьи волосы — ни длинные, ни короткие, которые бреют бороду словно скоморохи, носят несуразные чулки и башмаки, и, хуже всего, не имеют никакого понятия о чести. Совершенно очевидно, что одежда вызывает здесь едва ли не большее раздражение, чем нравы. Вряд ли можно тут говорить о политически окрашенных чувствах. Никакой политической окраски не имеет и тот древний антагонизм, который стоит над всеми локальными, региональными и общенациональными антипатиями в Европе: антагонизм между романским и германским миром, ибо это отвращение начало проявляться еще до того, как произошло политическое разделение между двумя соответствующими частями империи Каролингов. Житие святого Гоара, написанное неким монахом по имени Вандальбер из монастыря Прюм в Эйфеле около 840 года, рассказывает об одном немце, жившем на Рейне, который на дух не выносил людей романского племени и языка (*Romanae nationis ac linguae*), и испытывал к ним такую неистребимую национальную ненависть (*quodam gentilitio odio*), что даже видеть их не мог. Разум его под влиянием варварской дикости помрачился настолько, продолжает автор, что этот человек не мог без отвращения даже смотреть на проходящих мимо него людей романского племени, говоривших на своем романском языке, будь они даже людьми достойными и благородными.

Прочная политическая основа для этого этнического противостояния была впервые заложена в 887 году. Верденский договор 843 года был не более чем торжественным повторением принятых с давних пор во франкском государстве соглашений о разделе территории, в результате которых единое государство номинально продолжало существовать. Лишь после того как потерпела неудачу попытка Карла Толстого действительно объединить это государство, произошло окончательное разделение между западно-франкским и восточно-франкским государствами. Вот что сообщает императорская хроника о договоре 887 года: «*Hic divisio facta est, inter Teutonicos et Latinos Francos*»*. С этого времени некая Германия противостоит некой Франции. Хроника Рише сообщает, как в начале X века Карл Простой встречается в Вормсе с Генрихом, которому вскоре после этого предстоит сделаться королем Германии, и оба знатных юных аристократа, *linguarum idiomate offensi*** , по своему обыкновению, сначала пускаются в страшные взаимные оскорбления, затем вынимают мечи и затевают смертный бой, жертвой которого становится миротворец, пытавшийся остановить поединок.

Крестовые походы, отнюдь не служившие объединению в вере тех, кто был разделен языком, происхождением и подданством, напротив, только усилили национальную вражду между народами латинского христианского мира, представители которых, собравшись под общие знамена, лишь соперничали друг с другом в богатстве воинского снаряжения, одежды и приверженности христианству. Эккехард из Ауры, рассказывая о враждебности между немецкими и французскими рыцарями во время первого крестового похода, говорит следующее: «*Individua quae inter utrosque naturaliter*

* «Здесь совершен раздел между германскими и латинскими франками» (вульг.лат.), — прим. издателя.

** задетые оскорбительными выражениями из местных языков (вульг.лат.), — прим. издателя.

quodammodo versatur»*. Гибер де Ножан описывает, как в этом же походе немцы, ломбардцы и сицилийцы объединились против французов, поскольку не могли вынести их высокомерия. Примечательно, что Гибер, сам будучи французом, добавляет по этому поводу, что его соотечественники, если их хорошенько не усмирить, обыкновенно ведут себя среди чужих крайне строптиво.

Здесь пока еще нельзя говорить о сознательном национализме. Это лишь примитивное отвращение, возникающее между представителями разных племен и народов, и, можно допустить, на известном уровне развития неизбежное везде и всюду. Но положение меняется, когда в XII веке, в период наивысшего подъема мощи германской империи, впервые происходит консолидация Франции с Англией. Политика империи принимает в эту эпоху форму настоящего империализма, что, впрочем, было как бы узаконено уже самим императорским титулом. В 1107 году император Генрих V направляет пышную миссию в Шалон-сюр-Марн — для встречи с папой. В состав посольства входили два епископа и множество графов, а возглавлял его архиепископ трирский. Немецкие посланники прибыли на место с величайшей помпой. Особенно выделялся герцог Вельф Баварский. По свидетельству очевидца всех этих событий аббата Сюже из Сен-Дени, герцог Вельф был удивительно высок ростом и широк в плечах — «*vir corpulentus et tota superficie longi et lati admirabilis et clamorosus*»**, и впереди него оруженосцы всегда несли его меч. Цель миссии состояла не столько в переговорах, сколько в том, чтобы нагнать страха на французов (*magis ad terrendum quam ad ratiocinandum missi*). Единственным исключением был архиепископ, *vir elegans et iocundus****,

* личности, которым пришлось по необходимости общаться друг с другом (вульг. лат.), — прим. издателя.

** дородный мужчина, высокий и широкоплечий, с великолепной наружностью и громким голосом (лат.), — прим. издателя.

*** приятный и хорошо воспитанный человек (лат.), — прим. изд.

хорошо говоривший по-французски⁹. Речь шла о важных вопросах: должна была состояться инвеститура епископов. Когда обнаружилось расхождение во мнениях, «упрямые послы» (*cervicosi legati*) подняли, как пишет Сюже, шум со всею немецкой необузданностью (*teutonico impetu frendentes**), и перешли к угрозам: меч разрешит этот спор, но не здесь, а в Риме. — Таким в это время предстает глазам француза немец — образ его уже четко очерчен и расцвечен. Несколько позже Сюже употребляет словосочетание *furor teutonicus***, используя выражение из *Фарсалии* Лукана, где речь шла о древних тевтонцах, нагонявших ужас на Рим времен Мария.

В описанном эпизоде слышится уже совсем иной тон, нежели в стычках между юными рыцарями во время крестовых походов. Здесь звучит характерная политическая нота, которой, к сожалению, уже не суждено исчезнуть.

Пятьюдесятью годами позже Фридрих Барбаросса Гогенштауфен приближается к вершине императорской власти, а следовательно, и к вершине конфликта между императором и папой. Противостояние империи и Франции приобретает более острые формы. Среди врагов императора, боровшихся против него с помощью пера, самой яркой была фигура Иоанна из Солсбери. Его не следует считать выразителем мнений английского народа. Мышление этого клирика не было ограничено никакими национальными рамками, он ненавидит и презирает императора, *teutonicus tyrannus****, исходя из вполне интернациональных взглядов. Ведя письменную полемику с канцлером императора, он использует впоследствии часто цитируемые слова: «*Quis Teutonicos constituit iudices nationum?*»**** «Кто дал такую власть диким, необузданным людям, чтобы по своему усмотрению ставить

* обуянные тевтонским бешенством (лат.), — прим. издателя.

** тевтонская ярость (лат.), — прим. издателя.

*** тевтонский тиран (лат.), — прим. издателя.

**** «Какой это тевтон установил правила для народов?» — прим. издателя.

князей над головами детей человеческих? Ибо это всякий раз давало новое доказательство их бешенства, но Господь всегда мешал их намерениям.» И снова в его писаниях звучат слова *furor teutonicus*¹⁰.

Не будет преувеличением сказать, что первым проявлением политического национализма в средневековой Западной Европе был протест против политики немецких императоров из династии Гогенштауфенов. Век спустя эта долгая и отчаянная борьба императоров против могущества пап, против городов и князей в Германии и Италии, против растущей мощи французского короля привела к гибели гордого дома Штауфенов, а с ним — и имперской политики. В процессе продолжающегося в это время становления национальной организации Европы ведущую роль на протяжении нескольких веков играют Франция и Англия, а затем и Испания. Противостояние романских и германских народов не меняет своей сущности: сохраняется несходство культур, покоящееся на примитивной основе различия языков и национальных характеров. Но о политической враждебности, возникающей из этого противостояния, можно говорить лишь в связи с отдельными мелкими конфликтами между соседними народами. Примером может служить конфликт 1302 года между фламандцами и французами, когда сторонников французской лилии в Брюгге заставляли произносить слова *schild en vriend*^{**}, а Марлант сочинил свое знаменитое стихотворение *Wat walsch is, valsch is*^{**}. Слово *walsch*, *welsch* могло относиться к французам или итальянцам, равно как и слово *Duitsch*, *Dietsch* охватывало всех жителей Нидерландов и Германии. Противопоставление *Dietsch* и *Walsch* оказывало столь сильное влияние на умы, что Ян ван Бундале, забыв обо всех прочих народах Европы, писал такие вот строки:

* щит и друг (средненидерландск.), — прим. переводчика.

** Все валлонское фальшиво (средненидерландск.), — прим. переводчика.

Kerstenheit es gedeelt in twee:
die Walsche tonge die es een,
d' andre die Dietsche al geheel.*¹¹

В Европе имелась только одна возвышенность, с которой можно было окинуть взглядом все национальное устройство континента с его многочисленными новшествами — святой престол и его канцелярия. Риму постоянно приходилось иметь дело со всеми европейскими странами и народами, оставаясь при этом и в стороне, и над всем этим многообразием. Только Рим занимался на практике чем-то вроде международной политики, и папская дипломатическая служба, благодаря глубокому знанию дела и постоянному сбору разнообразнейших сведений, далеко опережала дипломатические службы светских государств. Между тем на рубеже XIII и XIV веков устройство государственных органов в других странах также сделалось более совершенным. Государственная целостность стала осознаваться как необходимость; системы управления, суда и финансов обрели во Франции и Англии устойчивость, достаточную для того, чтобы стать основой мощной национальной политики. И тут вновь заявил о себе национализм, причем настолько пламенный и деятельный, что в этом он едва ли уступал национализму сегодняшнему. Национализм начала XIV века основывается на совершенно реальном соотношении политических сил и народных устремлений; он переплетается с религией, или, точнее, рядится в одежды христианско-политических идеалов самого общего толка. Эпоха крестовых походов была позади, иными словами, латиняне лишились владений в Святой земле, — но отвоевание Иерусалима, то есть крестовый поход как политическая идея, по-прежнему оставалось для всех христианских князей и благородной целью, и святым долгом. В самом начале XIV века адвокат из Нормандии Пьер Дюбуа

* «Христианский мир поделен на две части: Одна часть говорит по-валлонски, А другая вся — немецко-нидерландская» (средне-нидерландск.), — прим. переводчика.

написал два политических трактата. В первом из этих сочинений, названном *О сокращении числа войн и раздоров во Франции*, он выступает за самую общую систему поддержания мира с различными санкциями, бойкотами, вмешательством третейских сторон и тому подобное. Во втором, носящем название *Об отвоевании Святой земли*, он полагает, что только гегемония Франции может спасти христианский мир или, по меньшей мере, способствовать его благоденствию. Будучи пламенным патриотом, он не скрывает своей ненависти к итальянцам. Он считает, что французы всегда оказывались в невыгодном положении; что только Франция может предводительствовать в крестовых походах; что папа должен уступить свою светскую власть французскому королю; что если весь мир подчинится Франции, то это принесет пользу всем, поскольку здравомыслием французы превосходят все прочие народы земли.

В этих сочинениях политический национализм достигает своего полного расцвета. Такой же точно деятельный национализм, в неменьшей мере свойственный англичанам, привел к первой продолжительной борьбе между двумя национальными государствами Европы — к Столетней войне между Францией и Англией.

В обеих странах национальное самосознание росло по мере того, как росло само государство, пока это самосознание не стало отчетливым фактором государственной жизни. Ничего подобного не могло происходить в Германии и в Италии, где не наблюдалось укрепления центральной власти и государственной целостности. В Германии ни королевская, ни императорская власть не были настолько сильны, чтобы стать по-настоящему важным действенным началом в формировании общенемецкого национального сознания и, на его основе, единого немецкого народа и общегерманского государства. Последний монарх из рода Гогенштауфенов, Фридрих II, не сумел удержать власть над немецкими князьями, дворянами и городами. Сознание принадлежности к немецкому народу в самом общем виде продолжало существовать, но приобрело более узкий характер привязанности к своему

роду, краю, городу или династии, рассредоточившись по бесчисленным новым структурам, которые возникали по мере распада Священной римской империи. Тем самым сознание принадлежности к немецкому народу утратило свою политическую окраску и свелось к инстинктивному Heimatgefühl*.

В Италии никакие потенциальные возможности национального объединения в рамках одного государства также не были реализованы. Ни древняя ломбардская железная корона, ни сицилийское королевство норманнов и Гогенштауфенов, ни авантюрная политика французов, стремившихся возвести на неаполитанский престол герцогов анжуйских, не смогли послужить основой для общеитальянского государства и соответствующей ему национальной целостности. Политика Ватикана сознательно препятствовала такому развитию. Венеция, Генуя, Флоренция, Милан и множество больших или малых городов-государств соперничали и враждовали между собой самым непримиримым образом. Тем не менее, несмотря на всю эту раздробленность, продолжается в это время и рост общеитальянского национального чувства. Слова *Рим* и *Италия* никогда не утрачивали блеска своего великого прошлого. Античные традиции никогда здесь не умирали, оставаясь сильнее, чем где-либо, — а они указывали на единение. Одновременно с самонадеянным французским национализмом, проявлявшимся в дерзкой политике Филиппа IV, звучит и мелодия итальянского патриотизма и национализма, — мелодия, которой уже не суждено было умереть, ибо здесь национализм пел голосом Данте. Но мелодия эта минорная, потому что национальное чувство не может развернуться в полной мере в словах *Ahi serva Italia, di dolore ostello...*** Мысль о свободной и единой Италии сливается с древней мечтой о мировом владычестве Рима. Император-миротворец принесет Италии согласие и покой, столь

* чувство родины (нем.), — прим. издателя.

** увы, Италия-рабыня, приют скорби (итал.), — прим. издателя.

милые сердцу Данте. Мировое государство, монархия — именно такого устройства земной жизни хочет Бог. Народ Рима призван избрать императора-миротворца. И вот германский император Генрих VII пришел в Италию, чтобы исполнить свое предназначение, — но неудачи сопутствовали ему с самого начала, надежда рухнула, и он умер в Италии, чтобы вечно жить в одном из верхних кругов дантова *Рая*.

In quel gran seggio a che tu gli occhi tieni
Per la corona che già v'è su posta
Prima che tu a queste nozze ceni
Sedera l'alma che fia giù agosta
Dell' alto Arrigo ch'a drizzare Italia
Verrà in prima ch'ella sia disposta.*

Не прошло и тридцати лет после смерти Данте, как этот пламенный, поэтический, мистический итальянский патриотизм и универсализм, греза Данте в его *De monarchia*, был разыгран в жизни народным трибуном Колой ди Риенцо, став фантастически чудесной интермедией истории. На целых полгода Кола дал Риму свободу; он призвал Италию к объединению и основанию всемирной империи. Пройдя через изгнание и тюрьму, он выступил впоследствии с политическими призывами сомнительного свойства, затем вновь возвысился, на этот раз с помощью папы, и, наконец, был убит во время уличных беспорядков. Никогда более идеалы национального объединения и классической свободы, при которой власть делят сенат и народ; упоение славой Рима и гордостью за Италию, наконец, священный порыв ко всеобщему миру — не соединялись столь причудливым образом в душе одного человека — незначительного, тщеславного, ве-

* А где, в отличие от других сидений, Лежит венец, твой привлекаая глаз,
Там, раньше, чем ты вступишь в эти сени, Восседет дух державного средь вас
Арриго, что, Италию спасая, Придет на помощь в слишком ранний час (перевод М. Лозинского).

роломного Колы ди Риенцо, все величие которого состояло только в умении мечтать.

В двух областях человеческой деятельности — торговле и науке, сосредоточенной в университетах, — народы Европы, независимо от существовавшей на текущий момент политической и иерархической расстановки сил, беспрестанно соприкасались друг с другом, причем эти контакты требовали и взаимопонимания, и взаимного доверия. Обе эти области, особенно вторая, сыграли очень большую роль в дальнейшем развитии понятия *нация*. В важных торговых городах (типа Брюгге, если говорить о Нидерландах) съезжавшиеся со всей Европы купцы объединялись по национальностям. Такие объединения, несомненно, усиливали ощущение национальной общности, но деятельность их обыкновенно ограничивалась тем городом, который давал им приют.

Значительно интенсивнее и шире оказывалось влияние национального начала в университетах, возникавших начиная с XII века в Италии, Испании, Франции и Англии — и отдавших в итоге пальму первенства парижскому университету, каковой они единодушно признали первым среди равных. В средние века *studium** было в большом почете, иногда его ставили наравне с *sacerdotium*** (церковным служением) и *impregium*** (управлением государством), тем самым образуя как бы триединство возвышенных родов деятельности. В университетах полновластно царила церковь. Преподаватели и учащиеся — все принадлежали к духовному сословию, т.е. были клириками. Обучение по сути своей носило сугубо интернациональный характер. В университете преподавались *artes liberales****, теология, церковное и светское право и медицина. Будучи университетскими дисциплина-

* занятие науками (средневеков. лат.), — прим. издателя.

** средневековая латынь, — прим. издателя.

*** свободные искусства (лат.): семь основных предметов в средневековом университете, — прим. издателя.

ми, ни одна из этих наук не ориентировалась на какие-либо политические или национальные интересы. Тем не менее уже с самого начала университетская жизнь способствовала возникновению национальных групп. Школяры являли собою беспокойную толпу, в большинстве своем состоявшую из приезжих иностранцев, как правило бедных и уж наверное молодых людей, у которых постоянно возникали всяческие трения с горожанами. Самозащита и защита своих прав вынуждали школяров к взаимопомощи и сплочению. Вполне понятно, что они объединялись в группы по признаку общей *patrio*, причем слово это понималось как в старом, узком своем смысле, обозначая выходцев из одной земли, так и в более широком смысле, охватывая выходцев из одной страны, подданных одного государства с общими законами, языком и обычаями. Университеты стали центром и отправной точкой национальной организации. В Болонье сам университет впервые возник, можно сказать, из слияния национальных студенческих корпораций, каждая из которых уже до этого слияния называла себя *universitas*. Известно, что до этого момента слово *universitas* вообще означало не более чем объединение, корпорацию любого свойства. В Болонье школяры поделились на две группы: группу *Cismontani*, охватывавшую выходцев из Ломбардии, Тосканы и Рима, и группу *Transmontani*, или *Ultramontani*, куда входили представители по меньшей мере четырнадцати национальностей.

В Париже существовало поначалу множество национальных групп, которые объединились позднее в четыре больших корпорации: французскую, пикардийскую, нормандскую и английскую. Три из них, таким образом, представляли только различные области Северной Франции, зато четвертая, *patrio anglica**, объединяла не только всех обитателей Британских островов, говоривших либо по-английски, либо на англо-французском наречии, либо на одном из кельтских языков, но и немцев, скандинавов, поляков — и во-

* английский народ (средневеков. лат.), — прим. издателя.

обще всех тех, кто учился в университете. Такая неопределенность понятия *patio* в дальнейшем не могла не привести к раздорам. Лишь в середине XIV века в парижском университете произошло разделение между *patio Alemanniae** и *patio Angliae***, причем первая из этих групп вскоре распалась на нижненемецкую, включавшую в себя и выходцев из Нидерландов, и верхненемецкую.

Соперничество, а зачастую и кровавые ссоры, во многом характерные для жизни университетских *nationes*, были в университетах Оксфорда и Кембриджа по меньшей мере столь же обычны, как и в других. Официальное разделение на две нации в Оксфорде было даже включено в устав, причем оно странным образом осуществлялось не на основе различия между Англией, Уэльсом и Ирландией (Шотландия вообще не упоминается), а на основе противопоставления Северной и Южной Англии. Там, где университеты возникли несколько позже, в частности, в немецких землях, устанавливалась та же система различения по нациям. Возглавляемые своими *procuratores****, которые выбирались на короткий срок из юных *magistri artium*****, нации представляли собою в университетах самую мобильную силу. Эта система земледельцев, с одной стороны, способствовала проникновению национального самосознания в самые широкие круги населения во всех странах, с другой же стороны — поддерживала в целом интернациональный характер университетской жизни.

Церковная организация уже с давних времен находилась на пути к известному разделению ее по национальному признаку. Это особенно заметно в Англии, еще в XIII веке добившейся значительной самостоятельности в управлении церковными делами. Сами папы первыми обратились к на-

* германский народ (средневеков. лат.), — прим. издателя.

** английский народ (средневеков. лат.), — прим. издателя.

*** попечители (лат.), — прим. издателя.

**** магистры искусств (лат.), — прим. издателя.

циональному началу, использовав его как противовес мощи коллегии кардиналов. Произошло это в 1274 году, на Лионском вселенском соборе, когда архиепископы и епископы объединялись в группы по нациям, и группы эти принимали участие в заседаниях наравне с коллегией кардиналов, противясь ее решениям. На Венском соборе 1311-1312 годов заключительное голосование также проводилось по нациям. Великий раскол, начавшийся в 1378 году, по-видимому, также ускорил процесс национального дробления церкви. Каждая страна сама выбирала, будет ли она подчиняться папе римскому или папе авиньонскому. Когда, наконец, в 1409 году созывается собор для восстановления единства церкви, то национальному началу на нем отводится уже бесспорно ведущая роль. Четыре нации — итальянцы, французы, немцы и англичане — образуют формальную структуру собора. Не сумев преодолеть разногласий, собор этот был распущен, а когда спустя пять лет созывается новый собор в Констанце, принцип разделения по национальному признаку вызывает уже серьезнейшие возражения. Англичане и немцы настаивают на нем, кардинал д'Альи возражает. Англия, кроме того, отказывается от предложенного ей пятого места (после Арагона), и добивается успеха, ибо дипломатия императора Сигизмунда заставляет его принять в разгоревшемся споре сторону Англии. Некоторые моменты здесь заслуживают особенно пристального внимания. Во-первых, *nationes*, то есть национальные делегации, рассматриваются на этом соборе как представители всего народа, имеющего одну общую родину. Затем, деление на нации не всегда совпадает с делением на государства. Вместе с французами голосовали также посланцы Савойи, Прованса и значительной части Лотарингии, хотя все эти земли считались территориями Священной римской империи. Каковы же тогда отличительные признаки нации как таковой? Сводятся ли они к языковому, династическому или церковному единству? Договориться по этому вопросу святителям так и не удалось. Возникает мысль о том, что следовало бы еще различать нации общие и

частные, что, в свою очередь, влечет за собою новые разногласия¹². Такие люди, как кардинал д'Альи, полностью отдают себе отчет в том, насколько опасным для единства церкви было бы признание наций элементами христианского мира.

На последнем в этом ряду Базельском соборе 1431 года вопрос о роли национального начала затерялся в бесплодных спорах по поводу других церковных дел. Однако в это же самое время теперь уже вновь единый папский престол занимался тем, что заключал с королями крупных государств договоры на основе взаимных уступок, тем самым на деле подтверждая уже совершившееся разделение церкви по нациям. Христианство находилось на пороге появления галликанской и англиканской церквей.

Таким образом, к концу средних веков как в церковной, так и в государственной жизни, не говоря уж о народной жизни и культуре, патриотизм и национализм получали все большее распространение.

II. От Ренессанса до Наполеона

Итак, оказалось несложным показать, что мнение, будто национальные противоречия были чужды средним векам¹³ или что национальное чувство есть продукт нового времени и современного государства, не имеет под собою никакой основы¹⁴. Оглядываясь на средние века, видишь множество проявлений острейшего национального самосознания и даже настоящего национализма. Эти чувства произрастали непосредственно на почве общности людей внутри одного племени, любви к родной земле, языкового единства, сходства обычаев и нравов, и, наконец, на почве верности королю — элементе не менее существенном, чем все прочее. Национальные чувства поначалу практически не были связаны с понятием государства, политические чаяния или проблемы едва ли играли большую роль в возникновении национальных единств. С самого начала существовали национальные

единства в более узком и более широком смысле; для более узких было, естественно, характерно более сильное чувство общности; но при этом более широкое противопоставление, например, между французами и итальянцами, между германскими и романскими народами, в любой момент могло обладать над более узким. Принадлежность к разным нациям почти всегда принимает форму враждебности, проявляясь при столкновениях с чужим и непривычным. Тем не менее, эта враждебность сама по себе пока еще никогда не становится основанием для значительных межгосударственных конфликтов. Невозможно утверждать, что причиной длительной войны между Францией и Англией послужили национальные противоречия, но можно сказать, что за время и вследствие Столетней войны эти противоречия усиливаются. Единственная борьба на типично национальной почве в средние века — это Гуситские войны между немцами и чехами.

К концу средних веков в Европе к западу от Балкан уже сформировались основные национальные единства, причем они были в той или иной степени связаны с определенными политическими объединениями. Общеупотребительные названия для целых народов возникли уже в древние времена: итальянцы, французы, немцы, испанцы, португальцы, англичане, датчане, норвежцы, шведы, поляки и венгры. Под каждым из перечисленных названий скрывалось неопишемое разнообразие общностей, объединявших людей по признаку рода или языка, края или города. Слово *нация* первоначально означало более узкую региональную общность. Над всем многообразием малых и больших национальных единств простиралось сознание всеобщей принадлежности к христианской вере, точнее, сознание латинско-христианского единства. Однако это сознание выступало на передний план лишь в связи с вопросами церковной жизни: например, когда определенные политические силы пытались возобновить крестовые походы или когда обсуждались проблемы, связанные с Великим расколом и вселенскими соборами. Ни императорский трон, утративший свою политическую власть, ни пап-

ский престол, все глубже и глубже втягиваемый во все хитросплетения межгосударственной политики, уже не могли оказывать объединяющего влияния на национальную конфигурацию Европы. Начиная с XIII века, церковь и сама оказалась вовлеченной в процесс разделения по национальному признаку. Английская церковь во многих отношениях была независима от Рима, а после великих соборов на этот путь вступила и французская. Затем в XVI веке произошел резкий разрыв с Римом, положивший конец безраздельному господству старой церкви в Англии, в половине Германии, в Шотландии и на скандинавском севере. Место старой церкви заступают национальные вероисповедания с собственными институтами. Даже кальвинизм, наднациональный по самой своей сути, вынужден был приспособливаться к государственным структурам, существовавшим в Шотландии, в Республике соединенных провинций и в Новой Англии.

Поэтому гуманизм и ренессанс упали на почву, состав которой в значительной мере определялся национальным элементом. К каким же последствиям привело соприкосновение национального начала с новым мироощущением? За ответом не нужно далеко ходить. Какой богатейший материал, какое обилие образов и образцов, мыслей и формулировок давала для расцвета чувства родины и национального самосознания античная культура, представшая в результате глубокого ее переосмысления в совершенно новом, ярком свете! Надо сказать, в одном своем проявлении такое чувство как национальная гордость уже и раньше питалось античностью, когда еще не было никакого увлечения греко-римской культурой. На протяжении нескольких веков национальная гордость заставляла народы многих стран верить в свое происхождение от троянских героев, будь то Приам или Анхис. Для каждого королевского дома, похвалявшегося своим древним происхождением, придворные литераторы сочиняли красивую генеалогию, восходящую к троянским героям. Ради преумножения славы Рима Вергилий в свое время превознес Энея выше всех других героев, выше Ахилла и Агамемнона. Благоговей перед Вергилием, христианская Европа

в свою очередь также ориентировалась на Трою. Мы видим здесь примечательный образец воздействия литературной идеи на жизнь.

На рубеже XV и XVI веков гуманисты, обладавшие гораздо более широким и углубленным знанием античности, не нуждались более в этих пестрых вымыслах о сказочных принцах. Чтобы призывать в свидетели классическую древность, у них были Ливий, Цезарь, Страбон, Тацит, в чьих сочинениях они находили более достоверные исторические сведения. Впрочем, большинство народов действительно уходили своими корнями во времена Древнего Рима. Теперь уже благородных отцов нации искали не среди потомства Приама, а среди геллветов, аллоброгов и свевов. Из античных источников гуманисты почерпнули не только сведения о своих праотцах, но и еще многое. В сочинениях греческих и римских историков поколение ренессанса прочитало о том, что значили некогда служение государству и гражданская доблесть, и осознали, какое значение эти понятия могли вновь обрести в современности. К римскому понятию *patria* вернулась прежняя полнота его звучания. Как уже отмечалось выше, в средневековой латыни слово *patria* имело двоякое значение: с одной стороны, оно обозначало небесную родину, с другой — ту местность, где человек родился. В позднее средневековье его же переводят как на средненидерландский, так и на средне-, верхне- и нижненемецкий словом *Vaderland**, употреблявшимся, впрочем, только в первом из двух значений *patria*. В это же время в форме *patrie* то же слово проникает во французский язык, причем в более полном значении, чем раньше. Примечательно, что здесь новое слово поначалу встретило сопротивление. «*Qui a Pays n'a que faire de Patrie***», упрекал Шарль Фонтен Иоахима дю

* отечество, — прим. переводчика.

** У кого есть страна, тому незачем пользоваться словом *родина* (франц.), — прим. издателя.

дю Белле. По его мнению слово *patrie* прокралось во французский язык непрошеным гостем, как некие *corruptions italiques**. В каком-то смысле он был прав, но слово тем не менее прижилось¹⁵.

На первый взгляд представляется, что гуманисты, стремившиеся к возрождению римского величия и греческого великолепия, должны были бы с пренебрежением относиться к разделению Европы на множество наций, видя в этом варварское отклонение от идеала. Казалось бы, уже самый идеал предписывал им быть до известной степени космополитами. Дробление на нации должно было представляться им помехой на пути истинной культуры. Да разве не об этом же говорила и христианская вера? Стремление к межнациональному и наднациональному объединению, можно допустить, вытекает из самых принципов гуманизма.

В самом деле, именно такой точки зрения и придерживался величайший из гуманистов, человек, чья слава поистине не знает границ, — Эразм Роттердамский¹⁶. «Каждого, кто посвящен в общие для всех таинства муз, — писал он, — я почитаю своим соотечественником» (*homopatrida***). Или в другом сочинении: «По отношению практически ко всем нациям я представляю собою то, что обыкновенно именуют чистым листом бумаги»¹⁷.

Он насмеялся над национальным чванством, которое противопоставляет народ народу или город городу, «когда каждый норовит считать всех чужаков варварами...». Во Франции «можно услышать проповеди о том, что Бог стоит на стороне французов, а в Англии или Испании — что не император, а сам Бог ведет войну...», — примеры можно продолжить. Но с подобным принципиальным анти-национализмом, конечно же, прекрасно уживается искренняя привязан-

* итальянские злоупотребления, излишества (франц.), — прим. издателя.

** (греко-лат.), — прим. издателя.

ность к родной стране. Слово *patria* в устах Эразма звучит поистине трогательным чувством. Однако следует отметить, что этот термин принимает в его сочинениях весьма различные значения. Иногда он подразумевает Голландию, *mea Hollandia**, как Эразм постоянно называет эту страну, несмотря на его неоднократно им же упомянутую нелюбовь к ба-тавскому национальному характеру. *Patriae pietas***, по его словам, значит для него очень много. В другом месте он употребляет слово *patria*, имея в виду всю территорию Нидерландов, находящуюся под властью Карла V. Четкого собственного названия весь этот конгломерат областей еще не имел ни для современников, ни для самого Эразма. Говоря обо всех этих областях как о целостном государственном образовании, Эразм, как и многие тогда, использует слово Бургундия. В последние годы жизни Эразм называет словом *patria*, по-видимому, Брабант, где мечтал закончить свой земной путь.

Однако в своем интеллектуальном космополитизме и умеренном патриотизме Эразм составляет среди гуманистов скорее исключение, чем правило. Как ни странно, в большинстве из них упоительный дух античности пробудил безграничное национальное высокомерие, находившее у древних авторов не менее благодатную пищу, чем космополитизм. Эразм посмеивается над своим ученым другом Будеусом с его французским национализмом. «Ты во всем очень любишь свое отечество, ты *rapu philopatris****, — пишет Эразм Будеусу. «Многие будут тебя восхвалять за твою любовь, и все с легкостью простят тебе ее, однако мне кажется более мудрым считать весь мир общим отечеством.» Между тем Будеус продолжал столь же болезненно относиться к вопросу национального достоинства, как и почти

* моя Голландия (лат.), — прим. издателя.

** почитание родины (лат.), — прим. издателя.

*** во всем патриот (греко-лат.), — прим. издателя.

все гуманисты того времени. В своем введении к *Посланию к галатам* Эразм обращает внимание читателей на слова из третьей главы: «О немые галаты!». «Он намекает на французов!» — подумал Будеус и счел это поводом для серьезнейшего неудовольствия. В подобных вопросах всегда необходимо соблюдать предельную осторожность. В одном из своих сочинений Эразм приводит несколько образцов иронических пословиц: *Scytham eruditum, negociatorem integrum, Poenum fidum, Italum bellacem**. Итальянцы не слишком воинственны? — Предки сегодняшних чернорубашечников не могли оставить этого без внимания, — в результате Эразм вынужден был вступить в полемическую переписку, отнявшую у него немало времени и нервов.

Этот чрезвычайно болезненный патриотизм и национализм ренессанса имеет уже совсем иной оттенок, чем средневековые национальные чувства. Он теснейшим образом связан с определенными политическими идеями о государственной целостности и об интересах страны. Он говорит ученым языком с использованием античных терминов. Его сознательно культивируют и правительства, и литература. В его распоряжении теперь богатый арсенал исторических примеров и параллелей из всех времен. В образованной среде теперь возникает нечто вроде общественного мнения относительно современной европейской политики. Например, в *Утопии* Томаса Мора есть остроумнейший эпизод, описывающий, как автор мысленно переносится ко двору французского короля, где идет тайный совет. Король обсуждает со своими советниками, какие уловки и махинации позволят ему удержаться в Милане, отвоевать Неаполь, затем либо просто захватить Венецию силой, либо, заключив с нею временное перемирие, обвести ее вокруг пальца, затем подчинить Франции всю Бургундию (т.е. все Нидерланды), а вслед за нею — еще множество народов, чьи земли он давно

* Скиф блещет образованием, торговец — честностью, пуниец — верностью, а итальянец — воинственностью (лат.), — прим. издателя.

уже прибрал к рукам в своем воображении¹⁸. Не подлежит сомнению, что Мор и в самом деле считал французскую политику ловкими манипуляциями в духе *Il Principe** Макиавелли (написанного одновременно с *Утопией*), направленными на достижение французской гегемонии в Европе.

Если во Франции, Англии и Испании национальное самосознание могло теперь развиваться в прямой зависимости от развития в этих странах сильного государства с устойчивой целостностью и централизованной властью, то в германских землях существовали совсем иные отношения. Императоры давно уже перестали быть не только объединяющим, но и хотя бы слабым связующим фактором, а стран, к которым человек мог бы отнести свои национальные чувства, становилось все больше и больше. Это и такие крупные земли с центральной властью, как Бавария, Бранденбург и Саксония, часто делящиеся, в свою очередь, еще на несколько частей, и бесчисленные вольные города, в большинстве своем крайне незначительные. Привязанность к землякам, любовь к родной земле, языковая общность, верность князю — эти чувства продолжают преобладать в немецком национальном сознании вместе со множеством других, не столь тесных и повелительных. И тем не менее над всеми этими частными воплощениями немецкого национального чувства постоянно витало и некое общегерманское сознание, переживавшее в ту пору обновление и расцвет — и не видевшее разницы между саксонцем и швабом, жителем Нижней или Верхней Германии. Это сознание питалось воспоминаниями о прошлом и вдохновлялось идеалами будущего; и те и другие обрели новую жизнь, оплодотворенные знанием классической литературы. Этот новый немецкий патриотизм и национализм владел в первую очередь умами писателей и поэтов — и находил свое выражение в латинских сочинениях гуманистов. Для обозначения отечества в широком смысле слова вновь стали использовать старое слово *Germania*, получив-

* *Государь*, — прим. издателя.

шее новое содержание.

Имя значит очень много в вопросах, связанных с национальными чувствами. Имя *Germania* было создано римскими авторами. Сам народ, живший на этой территории, довольствовался словом *Duitsch, Dietsch* — «немецкий», которым обозначались и язык, и страна, и народ. Слово это означало просто *народный, местный, свой*. Оно проникло в итальянский язык в форме *tedesco*. Французы и испанцы называли немцев *Allemands, Alemanes*, а средневековая латынь создала слово *Teutonicus*, отталкиваясь от формы *theodisk -duitsch*, на которую наложились античные реминисценции. Только в церковном языке долгое время сохранялось имя *Germania* — до тех пор, пока гуманизм не вдохнул в него новую жизнь. В имени этом слышались не только отзвуки былой славы германских императоров в эпоху средневековья, в нем ощущался и пафос мифических деяний, совершенных героями древних германцев, и очарование неиспорченных нравов в доисторическое время. Знакомство с тацитовой *Germania* принесло свои плоды. С этим историческим патриотизмом, который овладел учеными мужами, Эразму довелось непосредственно столкнуться в его первый приезд в Базель. Немецкие гуманисты безмерно восхваляли Эразма и осыпали его всяческими почестями. Для них Эразм был немцем, возвысившимся над гениями Италии, — за это его и превозносили. Они страстно желали, чтобы Эразм открыто заявил о том, что он — один из них. И наш роттердамец, приятно удивленный и польщенный, поначалу радостно вторил им. Так, в письме Вимпфелингу он пишет *Germanus Germano*, «как немец немцу», что в его «обращении будут ощущаться немецкие правдивость и точность, присущие им обоим...» Но вскоре немецкие друзья утомили Эразма. Он почувствовал, что этот патриотический дух не соответствует его космополитическим убеждениям. К тому же он боялся лишиться расположения своих французских друзей, столь же пламенно любящих свое отечество, как и его новые и несколько излишне

оживленные немецкие друзья. Вскоре он уже опять употребляет в письме Будеусу выражение *nostra Gallia**. Со свойственной ему скрупулезностью ученого он задается вопросом о том, не следует ли из античных источников, что Голландию правильнее относить скорее к Галлии, чем к Германии. Чем сильнее немцы и французы стремились перетянуть его на свою сторону, тем менее он был склонен сделать выбор в пользу той или другой национальности. Поэтому он вновь укрывается щитом своего скептического космополитизма, отвечающего не только духу античности, но и духу христианства, заявив, что ученому нет дела до границ между странами. В конце концов он даже начал отрицать, что, живя в Базеле, находится на германской земле. Это последнее заявление в то время не выдерживало никакой критики ни с географической, ни с юридической точки зрения¹⁹.

С наступлением нового времени все более существенную роль в формировании и распространении национального самосознания начинает играть еще один фактор: более или менее официальная историография. В эпоху возрождения возникает огромный интерес к подлинной истории своей страны и народа. Читатели хотели получить нечто большее, чем давали старые хроники. За неимением этого молодое книгопечатание поначалу набрасывается на старые материалы и выпускает в свет такую продукцию как *Голландская раздельная хроника* или *Grandes Chroniques de France*** . Эти компиляции разных средневековых хроник, составленные без какого-либо критического анализа, представляли собою одновременно последнюю фазу средневековой и первую фазу новой историографии. Издатели и читающая публика, хотя круг ее и был весьма неширок, в известном смысле опережали ученых, не успевавших удовлетворять их спрос на исторические сочинения. Италия стала первой стра-

* наша Галлия (лат.), — прим. издателя.

** Большие французские хроники (франц.), — прим. издателя.

ной, где историей начали заниматься на новых основаниях, вследствие чего она в течение длительного времени оставалась примером и школой для других стран. Уже в XIV веке искусство хроники достигло в Италии очень высокого уровня благодаря усилиям Виллани и его сподвижников. Углубленное изучение истории на основе критического переосмысления прошлого началось в Италии еще до начала XVI века. Уже сама история этой страны представляла собою некое естественное продолжение античности, что было в меньшей степени приложимо к истории Франции и Англии. Поэтому недавно взошедшие на престол короли Людовик XII Французский и Генрих VII Английский, отличавшиеся восприимчивостью к веяниям времени и лучше кого бы то ни было понимавшие, какое огромное значение для государства имеет серьезное изучение истории, пригласили своих историографов из Италии. Историографам было поручено тщательно и подробно описать прошлое страны — с тем, чтобы их труд, утвержденный авторитетом королевской власти, получил тем самым силу официально признанной и потому достоверной истории государства. В 1499 году такое задание от французского короля получил Паоло Эмилий, называвший себя веронцем, а на службу к английскому королю прибыл в качестве историографа в 1507 году Полидор Вергилий, гуманист из Урбино. Творения обоих, написанные по-латыни, получились весьма велики по объему: Паоло Эмилий написал 10 книг *De rebus gestis Francorum**, из-за его смерти оставшихся незаконченными. А сочинение Полидора Вергилия *Anglicae historiae*** насчитывало 26 томов. Эти труды по национальной истории, созданные по правительственному заказу, были, разумеется, в известной мере стеснены в своей свободе установленными рамками — но стеснены меньше, чем можно было бы предположить. Если не считать предписания сохранить в неприкосновенности национальную ле-

* О деяниях франков (лат.), — прим. издателя.

** Английские истории (лат.), — прим. издателя.

генду, уже давно ставшую жемчужиной в королевской короне, историкам предоставлялась полная свобода критически подходить к описываемому материалу. Паоло Эмилий ограничился лишь утверждением, что французы произошли от троянцев; ни о голубе, принесшем мирру при крещении Хлодвигу, ни о Роланде он даже не упоминает. Тюдоры, ставшие правящей династией значительно позже, причем на основаниях, законность которых не была бесспорной, следили за своим историографом строже. Полидор Вергилий приводит легенду о Бруте и сказание о короле Артуре, но наряду с ними — и критически отобранные сведения о ранней истории Англии; при этом, правда, он уклоняется от того, чтобы высказать собственное мнение, назвав тот из вариантов, который ему представляется истинным.

Не вызывает сомнения, что эти во всех отношениях превосходные сочинения, ставшие эталонами для многих поколений (хотя в оригинале их читал лишь ограниченный круг людей), внесли весьма существенный вклад в утверждение и обогащение национального самосознания, которое постепенно все более превращалось в политическое учение о верноподданничестве и официальную, утвержденную властью традицию. Когда гуманизм проник в слои, которым не доставало времени, желания и знаний для чтения ученых латинских сочинений, но которые тоже хотели познакомиться с новыми историческими работами, на передний план снова выступили компиляторы, писавшие на родном языке, — такие, как Рафаэл Холиншед в Англии и Бельфоре во Франции. Если волею судьбы этим авторам и посчастливилось снискать большую славу, чем их ученым предшественникам, то это произошло не благодаря их большим заслугам, но лишь потому, что Шекспир, как уверяют, черпал материал из их сочинений. Однако переход от латыни к народному языку означал резкое снижение научности, ибо авторы этих сочинений столь же мало заботились о критическом отборе и осмыслении материала, как и авторы *Grandes Chroniques* и других подобных и уже устаревших трудов. Национально-по-

литическая направленность стала теперь еще более отчетливой, чем раньше. Бернар дю Элан, придворный историограф Карла IX, в точности следует Паоло Эмилию, однако вставляет в свое сочинение отвергнутые его предшественником национальные предания, хотя и намекает при этом на свое к ним отношение. Его задача состояла отнюдь не в том, чтобы утолить благородную жажду в достоверных сведениях, которая была свойственна прежнему поколению гуманистов, — его сочинения должны были отвечать литературным вкусам, требовавшим ярких и живых картин, вкусам публики, увлекающейся *Амадисом Гальским*, где звучат ультраромантические отголоски рыцарских романов, вкусам воинственных дворян и утонченных придворных острослов. Дю Элан должен был писать в романтическом и героическом тоне, он вновь должен был восхвалять уже изрядно потрепанный к этому времени рыцарский идеал. Своей работой он вносил вклад не в историческую науку, а в национальную легенду о месте Франции в ряду других стран и народов.

Можно сказать, что ренессанс привнес в патриотизм и национальное чувство ту же полноту и уверенность, те же яркие краски и пульс жизни, которыми сверкают и искрятся порожденные этой эпохой искусство, мысль и человеческие отношения. Прежде чем перейти к рассмотрению последующих веков, нам надлежит отступить несколько в сторону. До сих пор мы исследовали интересующие нас вопросы на примере стран, где исходная точка национального развития кажется заранее заданной, идет ли речь об исконной принадлежности к землям, очерченным естественными границами, или о принадлежности к той или иной древней племенной или языковой общности, или же о многовековой, освященной традициями связи с королевской династией. Вместе с тем бывает и так, что нации зарождаются и развиваются без подобной твердой основы, когда народы и государства образуются вследствие фантастического стечения исторических обстоятельств. И вот здесь нужно быть крайне осторожным в суждениях. Ведь при ближайшем рассмотрении нередко ста-

новится очевидным, что даже в тех случаях, когда наличие некой исходной точки для развития национального сознания как будто бы не вызывает у нас никакого сомнения, само направление этого развития оказывается заданным все же не столь однозначно, как нам представлялось.

К числу стран, для отсчета национального развития в которых не удастся выявить некой однозначно определенной отправной точки, относятся Нидерланды и Швейцария. На первый взгляд географическое положение и природные условия кажутся в обоих случаях определяющими. С одной стороны — горы, с другой — низины в дельтах рек, — и то, и другое может, пожалуй, способствовать выработке чувства свободы и независимости. Но такое понимание означало бы чрезмерное упрощение проблемы. Возникновение союзов альпийских кантонов совсем не обязательно должно было повлечь за собою их отделение от Священной римской империи, что ни в малейшей степени не было их целью. Союзы эти не отличались от союзов, которые в XIII и XIV веках возникали на юге Германии между отдельными городами или сословиями. И те, и другие были объединениями *ad hoc**, восполнявшими нехватку действенной центральной власти. Любое незначительное изменение обстоятельств могло привести к тому, что швейцарские союзы, подобно немецким, стали бы в скором времени ненужными и сами собою распались. Немногие политические образования возникли столь случайным и непредсказуемым образом, как швейцарская конфедерация, выросшая из соединения германских кантонов, к которым позднее присоединились и романоязычные. Устойчивость Швейцарии служит лучшим доказательством того, насколько растяжимо понятие национальности и отечества: три языка — и все же одна нация, тесная связь с тремя культурами — и все же никаких тенденций к распаду, и это в стране, где нет единого центра, к которому в культурном отношении и тяготели бы все кантоны, а скорее прихо-

* для данного случая (лат.), — прим. издателя.

дится говорить о пяти или шести подобных центрах.

На возникновении и развитии нидерландского национального сознания можно не останавливаться особенно подробно: я неоднократно говорил и писал на эту тему по различным поводам. Как и в случае со Швейцарией, здесь сращивание областей в единое целое не определялось географическим положением: ни с востока, ни с юга эта группа низменных земель не была отделена никакими заранее заданными границами. Языковая ситуация подталкивала к расколу, но экономика, политика, культура вели к единству. Дважды удавалось достичь этого единства в результате династической или международной политики, и оба раза оно снова распадалось. Линию, отделявшую Республику соединенных провинций от испанских Нидерландов, можно сравнить с трещиной на горшке. И снова здесь появляется растяжимость и упругость понятия нации: на этой территории вместо одной возникают две нации. Нация на севере сильна своей этнической однородностью — *n'en déplaît**, фризцы, живущие в Нидерландах, — и своей тесной связью с судьбой княжеского дома Оранских. Нацию на юге раздирают мучительные противоречия между фламандским и валлонским началом, но тем не менее она сильна великими достижениями почти во всех областях, сильна, поскольку занимает в Европе почетное место, завоевав его благодаря той жертве, которую оказалась способной принести в первую мировую войну.

Еще сложнее, чем в Нидерландах, Швейцарии и Бельгии, обстоит дело с национальным вопросом в Австрии, которая в течение двух с лишним веков служила центром европейской дипломатии. Исходной точкой для самостоятельного развития Австрии в направлении единого государства послужила здесь правящая династия — династия Габсбургов. Заселенная баварцами немецкая Восточная марка эпохи раннего средневековья заметно возвысилась среди территорий

* не прогневайтесь (франц.), — прим. издателя.

Священной римской империи еще в те времена, когда она была только маркграфством, потом герцогством. Поэтому она вскоре стала одним из своеобразнейших центров немецкой культуры, чему не помешало даже и окраинное положение в империи. Престол достался Габсбургам без всякого труда, сначала на недолгий срок на рубеже XIII и XIV веков, затем — уже навсегда — в XV веке. Габсбурги как бы сплели венок из наследных земель вокруг австрийского герцогства. Сделавшись эрцгерцогами без всяких юридических на то оснований, они возвысились над другими немецкими князьями²⁰, а затем, в качестве королей Богемии, стали первыми курфюрстами. Все это возвышение династии Габсбургов происходило в рамках Священной римской империи — исключение составляла Бургундия, не входившая в состав империи и доставшаяся им по наследству. Данное исключение, однако, было очень важным: ведь в состав бургундского наследства входила и богатая Фландрия, ленное владение французской короны. Именно благодаря Фландрии Габсбурги впервые становятся силой международного масштаба, из-за Фландрии возникли противоречия между Габсбургами и Францией, которые определяли всю европейскую политику в течение нескольких последующих веков. Затем происходит объединение Австрии с Испанией, еще более обострившее существовавшие разногласия, затем присоединение венгерской короны, хоть это событие и было омрачено турецким завоеванием. Таким образом, Австрия к середине XVI века стала самой большой державой Европы, в состав которой входило самое большое число различных народов. Можно ли уже в эту эпоху говорить о единой австрийской нации? Ни в малейшей степени. Множество национальных и династических элементов сосуществуют, объединенные блеском императорского титула. Но о большем говорить еще не приходится. На рубеже XVI и XVII веков Австрия представляла собою смесь национальностей, в которой более уже не преобладали немцы, терявшиеся в пестрой мозаике народов — бургундцев, нидерландцев, итальянцев, богемцев, венгров и других.

Однако Тридцатилетняя война принесла Габсбургам не столько блестящие победы, сколько обострение хронического конфликта с Францией. Чуть позже на долю Австрии выпала задача общеевропейского масштаба: борьба с турецкой экспансией, возобновившейся в конце XVII века. В истории Европы имеется немного примеров такого международного единодушия, какое наблюдалось в 1683 году, когда немцы и поляки вместе оттеснили турок из-под Вены, а вскоре после этого французский принц Евгений Савойский выиграл для германского императора сражение, навеки избавившее Европу от турецкой опасности. Эта энергичная политика принесла такие результаты, каких не принесло и не могло принести даже ничем ни сдерживаемое расширение власти Габсбургов во времена Карла V: Австрия периода Марии Терезии превратилась в единое целостное государство, в отечество, которое при всей своей этнической пестроте смогло стать объектом нежнейшей преданности и прочных патриотических чувств. В груди этой *Felix Austria**, в имперской Вене, немецкая культура достигла своих вершин в творчестве Моцарта, Гайдна, Бетховена и Шуберта.

Однако именно эта нерушимая органическая связь с Германией оказалась впоследствии роковой для австрийской державы и для австрийского отечества. Речь идет о конфликте с Пруссией, об отдалении от новой империи, о союзе с Германией в первой мировой войне, результатом которого явились события 1918 года, а также о нынешнем аншлюсе. Вопрос о том, по какому пути пойдет Австрия — растворится ли в составе Германии, или сохранится в качестве независимой соседней державы, — этот вопрос, всегда звучавший для Австрии столь трагически, временно перестал существовать. Многонациональное государство, объединявшее, пусть не всегда самым лучшим образом, наиболее неустойчивую часть Европы, утратило свою самостоятельность.

* счастливая Австрия (лат.), — прим. издателя.

В век Карла V, Филиппа II и Елизаветы развитие понятий *отечество* и *нация* достигло своего апогея. Возникла уже и тесная связь между этими понятиями и представлением о мощном государстве и о неотложных задачах правительства. Новым требованиям времени соответствовала сильная централизованная власть и абсолютизм как наиболее подходящая форма правления. Для контрреформации и барокко как жизненных стилей характерно прославление всесильной королевской власти, отождествляемой с законом. Фигура повелителя только что не обожествляется; в августейшей особе короля видят воплощение самой сути государства и нации. Королевская политика в XVI веке прежде всего является политикой династической. Может быть, еще точнее было бы говорить даже не о династической, а о венценосной политике, ибо хотя целью венценосца по видимости были интересы всего народа, однако понимались они так, что важнейший из этих интересов, на деле заслонявший все прочие, состоял в блеске короны, в богатстве и славе монарха. Некоторое понимание экономических нужд и интересов страны подчас сказывалось на политике, однако не настолько, чтобы возвысить эту политику до сознательной работы во имя благосостояния, правопорядка и культуры. На словах, в теории благо подданных всегда провозглашалось целью монарха. Выражения *res publica*, *salus publica** с давних пор входили в лексикон политиков. Уже в средние века был распространен такой литературный жанр как *зерцало государей*: трактаты, в которых коронованным особам напоминалось об их обязанностях и давались конкретные советы в делах управления. Однако этот жанр дал больше классических образцов литературной стилистики и христианской морали, чем понимания экономических и общественных отношений. В известном смысле продолжением жанра *зерцал* стали руководства для политиков типа *Государя* Макиавелли, сочинений Жана Бодена или трудов так называемых монархомахов. Но на деле правители

* общее благо, общественное благо (лат.), — прим. издателя.

и государственные деятели продолжали ориентироваться по самому примитивному политическому компасу. Все их расчеты были неуклюжи и недальновидны, все средства и приемы — ущербны и недействительны, за исключением разве что таких, как интрига или подкуп. Если рассматривать политику как форму интеллектуальной деятельности и вместе с тем попытаться отдать должное способностям этих правителей, то все же нужно будет признать, что вся политика, скажем, Филиппа II или последних Валуа была не более чем неумелым манипулированием рычагами, назначения которых они не понимали и управлять которыми не умели.

В XVII веке идеология, или, если выражаться более осторожно, фразеология любви к отечеству и национального самосознания была обильно расцвечена всевозможными пестрыми украшениями, заимствованными из античности. Достаточно вспомнить хотя бы классические мотивы в патриотическом литературном языке Вондела. Среди восходящих к античности выражений любимейшим было *отец отечества*. Этот почетный титул годился не только для коронованных особ. Римляне, которые ввели его в обиход, вкладывали в него смысл, отвечавший духу республики, и хотели пожаловать его Цицерону. Разумеется, весь набор созданных римлянами и греками патриотических метафор значительно лучше подходил к тем немногочисленным государственным образованиям, которые все еще зиждились на гражданских свободах и добровольном объединении, чем к блеску и величию абсолютизма. Поскольку к этому времени недолгая слава швейцарской конфедерации, пережившей свой героический период, уже помрачилась, а Венеция и Генуя постепенно становились все более косными, консервативными структурами, тогда как молодая голландская республика оставалась единственной в Европе поборницей идеалов политической свободы, то лишь она и была в полной мере способна воспринять понятие отечества в том смысле, какой в него вкладывала античность. Почетный титул отца отечества здесь был уместен более, чем где-либо. Если слово

patria было в эту эпоху где-либо наполнено своим подлинным, классическим смыслом, то лишь в Республике соединенных провинций. Если сосредоточенный в нем пафос кем-либо ощущался в полной мере, то в первую очередь — голландскими мореходами, которые, пройдя через множество опасных испытаний, преодолев все трудности морских путешествий, все тяготы пребывания в тропиках, возвращались, наконец, домой, в «милую Голландию».

Но не только слова patria, pater patriae связаны для голландцев с самой сутью отечественной истории. Не менее важно для нас и слово *патриот*. Ибо задолго до восемнадцатого столетия, превратившего это слово в дышащий раздорами и кровопролитием партийный лозунг, оно прозвучало в гаагском Бинненгофе из уст знаменитого государственного мужа, и звук этот навеки запечатлелся в нашей истории, как если бы он был высечен в камне. «Люди, не верьте, что я предал страну; я поступал честно и по-христиански, как добрый патриот — патриотом я и умираю». Эти слова произнес в свой последний час Ян ван Олдебарневелт.

Уже из них видно, какое значение имело слово *патриот* в языке XVII века. Оно проникло в голландский язык из латыни в эпоху гуманизма и первоначально значило *соотечественник*. Вскоре оно стало передавать также мысль о любви к родине. Голландский словарь Килиена 1574 года дает, соответственно, два значения: *соотечественник* и *patriae amans**. Уже с самого начала восстания голландцев против Испании это слово используется для обозначения одной из воюющих сторон, чаще всего в словосочетании «добрые патриоты». Патриоты противопоставляются сторонникам Испании и короля, они — почти то же, что и гезы; во всяком случае, патриоты — это сторонники принца Вильгельма Оранского. Примечательно, что во французском языке слово *patriote* получает широкое распространение много позже, хотя в сло-

* любящий родину (лат.), — прим. издателя.

восочетании *bons patriotes** оно встречается уже в XVI веке²¹. Герцог Сен-Симон восхвалял Вобана за то, что он как патриот стремился реформировать государство, откуда Руссо заключил, что это слово прямо принадлежит Сен-Симону. Другие утверждали, что оно пришло из английского. Действительно, английское *patriot* приобрело к этому времени специфическое значение *друг свободы*. Уже в XVII веке некоторые группы, боровшиеся за преобразование государственной системы управления, охотно называли себя патриотами. Значение *patriot* как *друг свободы* стало общепризнанным после того как лорд Болингброк около 1738 года обнародовал свои политические памфлеты, направленные против слишком мирной и косной политики Роберта Уолпола, явно засидевшегося в министерском кресле. Один памфлет назывался *A Patriot King***, второй — *On the Spirit of Patriotism****. В них Болингброк взывал к власти и авторитету короля, а также к духовным силам народа, побуждая монарха и подданных подняться против консервативной парламентской аристократии. Эти сочинения можно назвать по-настоящему националистическими, даже, если угодно, с фашистским духом. Однако Болингброк, этот английский Алкивиад, не мог в течение долгого времени воздействовать на общественное мнение в Англии. Термин *патриот* вскоре приобрел в английском языке насмешливый оттенок, а затем и вовсе обесценился. «*Patriotism is the last refuge of a scoundrel*»****, — говорил доктор Джонсон Босвеллу. Тем не менее именно в значении *друга народа, друга свободы*, характерном для английского языка, слово *патриот* проникло во французский, — с тем, чтобы в конце концов стать оружием в гражданских распрях эпохи голландской республики, где оно было подхвачено

* добрые патриоты (франц.), — прим. издателя.

** *Король-патриот* (англ.), — прим. издателя.

*** *О духе патриотизма* (англ.), — прим. издателя.

**** «Патриотизм — последнее прибежище негодяя» (англ.), — прим. издателя.

членами нашей партии патриотов, которых безошибочно узнаешь по неизменной треуголке, гаудовской трубке и белому твякающему шпицу.

Так понятие *патриот* переместилось из сферы чисто эмоциональной в сферу политическую. Теперь оно уже связывалось не просто с любовью к отечеству, но звало к борьбе за свободу, равноправие, преобразование государства, общественный прогресс и даже за дело революции. Казалось, что понятие патриотизма может вскоре вообще оторваться от своей первоначальной основы, утратить связь с представлением о своем крае, о привязанности к родной земле. Ибо новый идеал свободы уже не ограничивался поддержанием традиционных национальных вольностей и прав, но подразумевал борьбу за счастье всех людей, распространение этого счастья в мире и совершенствование общественного устройства во всех странах. В результате возникло известное противоречие: с одной стороны — привычное политическое представление о государстве и нации, с другой — самый общий идеал, в основе которого лежит любовь к человечеству и ощущение собственной принадлежности к миру вообще, когда ты — гражданин мира. Деятели XVIII века верили сердцем и умом, что эти общие идеалы смогут осуществиться уже завтра. Казалось, будто народу и отечеству суждено исчезнуть, раствориться в единстве и согласии всего рода человеческого. Каким же образом могла сочетаться подобная картина счастливого будущего, созданная философами, с националистическими идеями? Как ни странно, это было делом не столь уж сложным, поскольку любители мудрости, развивая свои идеи, редко бывают строго последовательными, и обыкновенно хоть в чем-то да отклоняются от собственной системы. Для двух ведущих мыслителей XVIII века, Монтескье и Руссо, представление о конкретных нациях и отечествах всегда оставалось на заднем плане. В *Esprit des Lois** Монтескье мыслил скорее этническими и социальными

* *Дух законов* (франц.), — прим. издателя.

ми, нежели политическими категориями. Руссо предпочитал абстрактные рассуждения об объединении людей в государство и о жизни в подобном содружестве. Однако даже и в *Contrat Social** субъектом добровольного объединения, носителем *volonté générale***, могла оказаться только величина, заданная реальной жизнью, а именно государство или народ. Точно также в *Considération sur le gouvernement de Pologne**** Руссо дает формулировку национальной политики в полном смысле слова. В этой работе он утверждает, что целью законодотворчества является воспитание народной души, осознающей свои национальные черты, а целью просвещения должно быть сохранение в сердце народном старинных обычаев и преданий.

Вполне в духе той эпохи, когда, казалось, вот-вот разразится великая революция, шла борьба двух представлений: с одной стороны — смутный идеал всеобщего братства, терпимости, человечности, предвкушение мира во всем мире, когда счастливые народы обретут свободу и будут жить гармоничной жизнью по естественным законам природы, с другой стороны — противоположная этому идеалу и не менее сильная любовь ко всему, что относится к своей стране и своему народу. Когда же революция стала явью, то уста по инерции продолжали твердить о всеобщем блаженстве, человеколюбии и доблести, тогда как ведомая сердцем рука с зажатым в ней мечом поднималась за благо отечества и нации. Понятия *patrie* и *nation* никогда не оказывали столь сильного воздействия на общественные события, как в 1789-1796 годах. Этот факт подтверждает уже в который раз, что природа человеческая оказывается сильнее любых учений. Тем не менее сами участники событий полагали, что в действиях своих руководствуются именно теоретическими учениями.

* *Общественный договор* (франц.), — прим. издателя.

** *общая воля* (франц.), — прим. издателя.

*** *Размышления о правительстве Польши* (франц.), — прим. издателя.

Так, Национальное собрание почитает своим первейшим долгом провозгласить права человека и гражданина. Примечательно, что человек стоит на первом месте, а гражданин на втором. Но едва только предпринимается попытка сформулировать эти самые права человека, как тут же выясняется, что человечество обязано уместиться в рамки, заданные государством. Человечество не могло быть носителем столь желанной свободы. Границы свободы простирались не далее границ отечества, а субъектом свободы становился один народ. Так французская революция уже с самого начала привела к неслыханному дотоле расцвету страстного патриотизма и национализма.

В пьесе под названием революция можно было увидеть подчас весьма неожиданные интермедии. Одна из них имела место в 1790 году, в период, можно сказать идиллический для революции, поскольку тогда еще казалось, что все идет как надо и что счастливое человечество вот-вот сомкнет свои единодушные ряды для достижения блаженства. В один прекрасный день этого года, а именно 19 июня, в Национальном собрании вдруг появилась странная процессия, состоящая из арабов, пруссаков, швейцарцев, шведов, индийцев, сирийцев, брабантцев, льежцев и т.д., все — в национальных костюмах, под водительством знаменитого своими фантазиями Анахарсиса Клотса, барона Клефского. Явившиеся назвались представителями *le genre humain**, которые пришли сюда просить Францию разрешить им участвовать в празднике свободы и братства, дабы в дальнейшем донести до своих народов весть о грядущем освобождении.

Со времени Монтескье каждый школьник знает, что свобода родилась в диких лесах тацитовой Германии и что на почве этой древнегерманской свободы произросла английская государственность. Во Франции это учение также получило признание. Уже и раньше романские народы не были чужды известной гордости за германский элемент в своей

* род человеческий (франц.), — прим. издателя.

древней истории²², но теперь, в эпоху всеобщего увлечения романтизмом, германское происхождение стало настоящим козырем. Даже Токвиль без тени сомнения говорил о *nos pères les Germains**, а у него эту мысль заимствовал его друг Гобино. Весьма примечательную форму идея о германском происхождении французов принимает во времена революции. 24 апреля 1793 года тот же самый Анахарсис Клотс изложил перед Конвентом разработанную им систему вселенской республики. Вот как об этом сказано в отчете о заседании Конвента: «Il a demandé la suppression du nom françois, il a pensé que le nom de Germains nous conviendrait parfaitement.»^{**23} Но *Марсельеза* к этому времени была уже написана, энтузиазм повсюду бил через край, и отряды революции уже готовились к тому, чтобы вернуть народам мира свободу, а Франции — ее «естественные границы».

Но что же такое *естественные границы*? Чем больше изменений претерпевает политика, тем больше она остается прежней. В стремлении вернуться к естественным границам ожила давняя воинственная политика французской экспансии, которую в свое время начал проводить Ришелье, а продолжил Людовик XIV. Но слово «естественный» было новым, оно несло в себе нагрузку всей *философии* XVIII века: природа, естественность — вот высшая сила добра, которой человек должен подчиниться, на которую он должен ориентировать всю свою жизнь и все помыслы. Расширение границ отечества военными средствами будет не более чем следованием зову Природы. Идеал освобождения всех угнетенных народов также был прямым продолжением мысли Руссо. Его идея общественного договора была адресована не какому-либо одному государству или народу, но представляла собою попытку

* наши отцы-германцы (франц.); игра слов: может быть прочитано и как *наши двоюродные отцы* или как *наши кровные отцы* (франц.), — прим. издателя.

** «Он потребовал отмены имени французов; он считает, что наименование *германцы* нам бы прекрасно подошло» (франц.), — прим. издателя.

ку создать систему, пригодную для всех времен и народов. Как раз эта абстрактность его сочинения и открывала ворота явлению, которое может быть названо универсальным национализмом уже потому, что единством, воплощающим в себе идеальное государство, может быть государство национальное. Таким образом, политическое учение Руссо едва ли могло быть претворено в действительность в более чистом виде, чем это задумал Бонапарт, прямо продолживший дело победоносных войск Конвента, — дело революционного созидания некоего венка из свободных республик со стилизованными под античность названиями, как то Батавская, Гельвеическая, Цизальпинская, Лигурийская, Партенопейская республика (здесь, как видим, даже такого названия, как Неаполитанская республика, было бы мало: в нем не в должной мере ощущался дух античности).

Однако кроме стремления следовать природе в духе Руссо и социологических представлений Монтескье, были еще и другие источники, из которых идеи нации и отечества черпали в XVIII веке свою силу. Такие понятия как народная жизнь, народный характер, народная песня, народные обычаи, сага, сказка и легенда, оживали для современников, ощущавших их живое тепло и видевших их живую красоту не в философских трактатах, а в эстетическом осмыслении мира посредством искусства, с его волшебными, с любовью и тщательностью выписанными картинами. Грядущий романтизм заслонил собою просвещение с его рационализмом подобно тому, как набежавшая тучка, несущая освежающий дождь и летнюю грозу, заслоняет собою не слишком горячее солнце. Но богатства романтического сознания предстояло еще добыть из недр прошлого, и в этом не смогли бы преуспеть ни философ, ни поэт, если бы за их спиной не стоял внимательный исследователь. Пионером в области историко-филологических изысканий, на основе которых романтизм обретал свою мощь, был, несомненно, Йоган Готфрид Гердер. Он был пятью годами старше Гете и умер за год до смерти Шиллера. Это был один из тех умов, которые, не обладая изысканным чувством формы, работают тем не менее чрезвы-

чайно продуктивно. Он не создал ни одной стройной по композиции работы, которая до наших дней находила бы своих читателей, но оставил все те ингредиенты, из которых другие и построили национальное чувство и любовь к родине. Образ народа, представляющегося современникам фактическим субъектом общественной жизни и носителем культуры, он расцветил тысячей ярких деталей, заимствованных им отовсюду: из народной песни, из старинных обычаев и преданий. Он стал отцом всего того, что теперь называется фольклористикой, а также и отцом литературоведения. Он внес большой вклад в освобождение литературы от пагубной склонности, которой не избежал сам Вольтер, — устанавливать каноны прекрасного, назначать требования, каковым будто бы непременно должны отвечать все художественные произведения. Гердер же искал повсюду проявления истинного, изначального, своеобразного. Любопытно, что понимание сущности народного характера и народного духа сформировалось у Гердера не тогда, когда он жил среди своих германских соотечественников, а во время его пребывания в Риге, среди латышей. Гердер не мыслил политическими категориями, ненавидел политику империалистическую и захватническую. Еще в меньшей мере свойственно ему было мыслить в терминах расовых. Не примечательно ли, что человек, внесший больший, чем кто-либо другой, вклад в создание таких понятий как национальный характер, дух народа, Volkstum*, не стал сторонником учения о врожденных или наследственных национальных особенностях, но, напротив, был убежден в том, что процесс становления человеческого духа и разума всецело зависит только от среды? И тем не менее именно он — в числе тех, кто оказал наибольшее влияние на становление национального сознания в его нынешней форме.

В конце XVIII века проблемы нации и отечества оказываются в самом центре внимания европейских стран. Причи-

* народность, народный дух (нем.), — прим. издателя.

ной тому — не философские диспуты и не дипломатические сношения между соперничающими государствами, пытающимися найти известное равновесие сил, но потрясения, вызванные затянувшимися войнами. Бонапарт занят тем, что пытается поставить провозглашенный революцией идеал свободы и равноправия людей и народов на службу своей инстинктивной жажде власти, своему таланту властителя. Принципы народа и отечества, на словах еще признаваемые, на деле временно полностью заслонены небывалыми успехами его беззастенчивого империализма. Генерал становится консулом, консул — императором, император, как фокусник, едва успевает вынимать из своей треуголки новые, неизвестно откуда появившиеся государства на территории Европы. Парижу предназначается стать столицей мира, где сосредоточена вся власть и вся культура. Новоиспеченные батавы должны опять забыть, что они только что назывались голландцами, а тосканцы — что совсем недавно их почти уже перекрестили этрусками. На поверхности же для всех и каждого предназначается имя француза. В роковой мечте об империи нет места понятиям *отечество* и *народ*.

Все это так — до тех пор, пока вдруг не обнаруживается, что искоренить государства и народы намного труднее, чем силой оружия захватить на какое-то время земли и поработить людей. Устоявшиеся за века узлы европейской структуры вновь обрели волю к сопротивлению и силу. Это была сила, порожденная национальными чувствами. Она исходила от никогда не уступавшей врагу Англии, от объятый фанатизмом Испании, от возродившейся Пруссии. Это была та сила, которая вела Европу от Лейпцига к Ватерлоо.

III. Девятнадцатый век

О монархах и дипломатах, собравшихся в 1814 году в Вене, чтобы по-новому и на долгие времена устроить жизнь в измученной войнами Европе, не скажешь, что они потерпели неудачу из-за избытка трудно согласуемых между собою принципов. Было бы крайне несправедливо утверждать, что они вообще не преуспели в своей работе. Международные договоры, выработанные Венским конгрессом, хотя и были далеко не безупречны, все же обеспечили Европе мирную жизнь, продолжавшуюся, если не считать ряда мелких нарушений, почти полвека. Не будем углубляться в вопрос о том, была ли Европа обязана своим столь долгим благополучием глубокой мудрости дипломатов или же только не зависевшему от их воли удачному стечению обстоятельств. Возможно, залогом успеха как раз и явилось то, что дипломаты не вызвали с излишней горячностью ни к каким отвлеченным принципам. Венский конгресс попросту произвел раздел имущества, оставшегося после гибели империи. Впрочем, всевозможных принципов, пригодных для того, чтобы на них ссылались, было предостаточно: милая сердцу свобода (понимаемая очень по-разному); целостность того, что по природе своей должно быть единым; признание права каждой нации на самостоятельность (оставляющее изрядный простор для толкования формы этой самостоятельности), необходимость установить равновесие сил между суверенными государствами, которые не только нуждались друг в друге, но и при желании не смогли бы избежать тесного взаимодействия между собой; наконец, и участие граждан в управлении государством. Несомненно, следует считать большой удачей то, что на Венском конгрессе не было возможности учитывать все эти принципы при выработке решений. Здесь и без углубления в вопросы принципиального характера трудно было достичь каких-либо результатов. По существу лишь один из ведущих участников конгресса, Талейран, представлявший побежденную Фран-

цию, занял в Вене принципиальную позицию. Он выдвинул принцип легитимности — и принцип этот позволил ему достичь значительного успеха. Здесь нам видится сдобренная изрядной долей юмора ирония самой истории: легитимность, то есть наследственное право династии на престол, идея, которая на протяжении всего XVIII века высмеивалась философами как противоречащая здравому смыслу, смехотворная и недостойная человека, а недавно к тому же буквально растоптанная самим императором, — именно эта идея оказалась вдруг единственным сколько-нибудь приемлемым и плодотворным принципом, с которым могли согласиться все участники конгресса.

Впрочем, был еще один человек, в сентябре 1814 года выдвинувший принципиальное решение, — хотя он и не принимал участия в заседаниях съехавшихся на конгресс знаменитостей, а мысль его витала в сферах еще более отвлеченных, чем те, где в содружестве обретаются свобода, нация, конституционное правление и государственная целостность. Речь идет о Сен-Симоне. По случаю открытия Венского конгресса он написал в Женеве манифест под названием *De la réorganisation de la société européenne ou de la nécessité et des moyens de rassembler les peuples de l'Europe en un seul corps politique**. Из самого этого заглавия ясно, что Европа виделась ему как уже существующее сообщество наций, некое *société*, которое нуждается лишь в реорганизации. Нечего и говорить, что манифест Сен-Симона не произвел ровным счетом никакого действия на умы.

Венский конгресс сделал свое дело, насколько это позволяли обстоятельства, то есть сбалансировал, насколько это было мыслимо, противоречивые интересы его участников. Конгресс стремился к тому, чтобы все его решения служили восстановлению законности. Расширение территории Ав-

* О переустройстве европейского общества, или О необходимости и способах объединить народы Европы в одно политическое целое (франц.), — прим. издателя.

стрии за счет Италии означало компенсацию за те земли, которых первая лишилась в Германии; создание Польского королевства, тут же отданного русскому императору, призвано было, по-видимому, несколько сгладить впечатление от раздела Варшавского герцогства, при котором часть земель отошла к Пруссии и Австрии; присоединение к Пруссии Рейнской области и половины Саксонии рассматривалось как возмещение (Пруссия претендовала на всю Саксонию, бывшую союзницей Наполеона) и награда. При таком раскладе права наций на самоопределение в лучшем случае играли роль риторических фигур. Следует ли ставить это в вину Венскому конгрессу? Следует ли считать, что он допустил кардинальную ошибку в оценке ситуации и в выработке полититической линии? Нехитро проявлять историческую дальновидность задним числом. Принцип национального самоопределения, равно как и ряд других абстрактных и общих представлений, еще не в достаточной мере оформился, чтобы лечь в основу политического устройства Европы. Потребуется еще почти столетие, чтобы этот принцип и подогревающая его страсть получили признание, воплотятся в живую, будоражащую политическую идею, — и уже в новом качестве начал угрожать миру неисчислимыми бедами.

Мы видели, что более глубокое понимание национальной специфики родилось в эпоху романтизма. Именно в эту пору возникла традиция переводить все духовные потребности человека, — всю его тягу к сущностному, подлинному, самобытному, — на народное наречие. Национальное сознание обретало свою форму благодаря ощущению живой связи с древними традициями, оно расцветивалось красками народной лирики и народных сказаний. Требование национального своеобразия становилось все более настоятельным, превращаясь в своего рода пароль, в примету эпохи, однако причиной тому была не только романтическая идея, но и чисто материальная и техническая сторона жизни европейских народов, претерпевавшая значительные изменения. Все жизненные функции нового общества, отличающегося все более четкой организацией и все большей механизацией,

стали осуществляться в основном в рамках одной страны. Практически любой вид деятельности в любой области умещался внутри национальных границ. Транспорт и производство, образование и издательское дело, забота о благосостоянии и строительство дорог стали играть значительно большую роль, чем раньше. Теперь всему этому уделялось несравненно больше сил и внимания как отдельными людьми, так и обществом в целом, причем элементы эти развивались в большей или меньшей мере каждым народом по отдельности. Более, чем когда-либо прежде люди теперь стали смотреть на жизнь с национальной точки зрения. Даже жизненные идеалы начали принимать национальную ориентацию. Идея свободы связывалась уже не со всем миром или со всем человечеством, но касалась только собственного народа. Стоявшие перед обществом задачи были конкретнее, чем раньше, будь то в сфере политики, экономики или духовной жизни. Народы занимались созданием конституций, строительством железных дорог, социальным законодательством, борьбой со всевозможными общественными пороками и злоупотреблениями. Все эти задачи были по сути своей национальными: укладывались в границы данной страны, затрагивали интересы живущего в ней народа.

Потому неудивительно, что национальный принцип все более приобретал значение путеводной нити общественной и политической жизни. В результате возникла опасная склонность превозносить ценность и приложимость национального принципа с тем же легкомыслием, с каким прежде им пренебрегали. Люди все менее охотно вспоминали о том, что реальной единицей политической жизни в конечном счете является все же государство, а *нация* есть скорее некий идеал, программа, лозунг, — то, к чему можно только стремиться. С точки зрения истории Европы государство было первично, а нация являлась продуктом жизненных обстоятельств внутри того или иного государства. Нация формируется исключительно в связи с властью, даже в тех случаях, когда национальное единство и национальная однородность, обнаруживающиеся в результате развития, кажутся неиз-

бежным следствием тенденций, заложенных в естественных условиях жизни народа в далеком прошлом.

По мере того, как представления об отечестве и народе с конца XVIII века начали приобретать все более отчетливые формы, наполняясь все большим смыслом и проникаясь все большим пафосом, так что в них стало слышно биение самой жизни, постепенно росло и ощущение мучительной дисгармонии повсюду, где деление на государства не отвечало национальным чувствам. В идеальном случае национальные чувства, любовь к отечеству и преданность государству, должны были бы совпадать. Однако так бывало далеко не везде. Там, где недоставало подобного концентрического, гармоничного соответствия перечисленных элементов, возникали недовольства, грозившие ломкой существующих структур. Европа периода реставрации знала множество подобных начиненных недовольством, взрывоопасных точек. Все страны-победительницы — Англия, Австрия, Пруссия и Россия — плюс побежденная Франция, остававшаяся, несмотря на падение империи, в числе первых, владели ситуацией, поскольку были общепризнанными великими державами. Уже самое понятие великой державы означало, собственно говоря, попрание идеала, выдвинутого политическими учениями XVIII века и развитого в ходе революции. Теория не признавала превосходства великих мира сего над малыми. Но два века европейской жизни, на протяжении которых гармоничное звучание оркестра стран нередко сменялось какофонией, заставили осознать это превосходство слишком хорошо. Признание преимущества за сильными стало теперь неизбежным следствием, вытекавшим из самого хода событий. Существовавшее объединение народов Европы в великие и малые государства было весьма слабо связано с национальным принципом. Основой этого объединения служила государственная власть, а не этническое родство. Великой державой была не Германия и не только что созданный Германский союз, задуманный как воплощение единства германской нации, — великой державой была Пруссия. Сама же Пруссия в национальном отношении никогда не отличалась

однородностью. Она никогда не утверждала, что выросла на основе единой нации. Пруссия была государством — и ничем иным становиться не помышляла. Когда Фридрих Вильгельм III написал в 1813 году *Воззвание к моему народу*, в котором призывал своих подданных к борьбе за освобождение от французского господства, он не использовал в обращении слов *пруссак* или *немцы*, но перечислил народы поименно — бранденбуржцы, пруссаки, силезцы, померанцы, литовцы и т.д. Никакого отождествления понятий государства и нации не было и впомяне. Неудивительно поэтому, что в прежние времена великое многообразие национальных различий в обширнейших владениях Габсбургов никому не внушало сколько-нибудь серьезного беспокойства.

С великими державами в Европе соседствовали малые независимые государства, более или менее соответствовавшие нациям. Эти малые государства основывались либо на древней племенной и языковой общности, примером чего могут служить скандинавские страны, либо на закрепленной историей традиции государственной целостности, как это было со Швейцарией, — но чаще всего встречалось сочетание того и другого. Вновь образованное королевство Нидерландов шло навстречу испытанию своей политической прочности. Лишь в нескольких государствах население было в национальном отношении почти совсем однородным. Практически повсюду наблюдались мелкие конфликты на национальной почве — в немецких землях, в Италии, в Ирландии, и, разумеется, на Балканах, где еще в эпоху иноземного порабощения зародившееся национальное сознание народов побудило их на борьбу за свободу и независимость. Романтическая почва, некогда взрастившая национальные чувства, теперь была цветущим садом, приносящим обильные плоды. Если где-либо романтические идеи интеллектуальной элиты оказали действительное влияние на практическую политику, то в первую — в Греции, в ее войне за независимость. В этой войне проявились все идеалы того времени: жажда свободы, стремление вернуть былое античное вели-

ская мировая скорбь — в сочетании с байроновским же мужеством.

В итоге уже в самом начале эпохи реставрации семья европейских государств пополнилась новым членом — Грецией. Европа и дальше пойдет по этому пути — возникнут Сербия, Румыния, Болгария, а в нашем веке к ним добавится еще ряд новых государств. Обратная тенденция, т.е. тенденция к уменьшению числа государств, также вскоре заявит о себе, когда исчезнут целых пять государств, превратившись в одно — в Италию, а другие четыре государства сольются в едином немецком государстве — Германии. XX век пойдет в этом отношении по стопам XIX века. Оба процесса — процесс объединения (и, следовательно, сокращения числа) политических единиц и процесс разделения (увеличения числа) государств — характерны для посленаполеоновской Европы. Остановимся на этих двух противоположных тенденциях несколько подробнее. Ибо в этой их противоположности заключена проблема самого общего плана: проблема большого и малого государства.

Мы со школьной скамьи привыкли считать такие грандиозные события XIX века как объединение Италии или Германии явлениями а priori положительными, или, по меньшей мере, неизбежными в силу той их логической и естественной закономерности, перед которой критика умолкает. И действительно: *historia locuta est**. Никому не придет в голову доказывать, что нам следовало бы сожалеть о последствиях этих процессов. Другое дело — выразить свое сомнение относительно общей тенденции, спросив: таким ли уж безусловным благом для человечества является исчезновение, растворение в составе более крупных государств — государств более мелких, бывших до этого носителями собственной государственности и собственной культуры? Наше время так раболепствует перед всем великим (хотя бы только по своим

* история сказала свое слово (лат.); намек на пословицу «Рим сказал свое слово», то есть вопрос исчерпан, — прим. издателя.

размерам), что любое слово, сказанное в защиту малого государства, рискует прозвучать некстати. Тот, кто склонен с наскаку принять, что большое государство заслуживает предпочтения перед малым, впадает в заблуждение, которое Фрэнсис Бэкон, живи он теперь, причислил бы к своим *idola fori** — идолам площади: препонам на пути здоровых суждений. Преклонение перед количественными показателями — один из примитивнейших предрассудков современного человека, оглушенного неслыханными достижениями новейшей техники, всевозможными скоростями и мощностями. Превосходная оценка места малого государства в европейской мысли последних столетий дана недавно в небольшой по объему, но насыщенной работе швейцарского историка Вернера Кеги²⁴, которой я с благодарностью пользуюсь в последующем изложении.

В политическом мышлении XVIII века, естественным образом учитывавшем лишь ограниченный круг политических связей и возможностей, вне всякого сомнения преобладало уважение к небольшим государственным образованиям. Монтескье полагал, что республика пригодна и характерна для малых территорий, монархия — для средних, и лишь деспотия, держащаяся страхом подданных, годится для страны, занимающей огромные пространства. Малые государства, согласно Монтескье, становятся жертвами больших, а большие — жертвами своих пороков. Монтескье отдает безусловное предпочтение республике, т.е. малому государству, причем основным принципом ее называет добродетель, а основным принципом монархии — честь. Он подчеркивает, что добродетель эта — не христианская, но понимаемая как любовь к отечеству и к равенству. Тем самым патриотизм возводится здесь в ранг признанной основы лучшей формы государственного устройства. Руссо также полностью отвергает большие государства: большая страна, учит он, — уже не

* (лат.), см.: *Великое восстановление наук*, кн. V, гл. 4, — прим. издателя.

государство, ибо в ней индивидуум, вообще говоря, лишается какого бы то ни было участия в управлении.

Примерами осуществления идеального политического устройства до той поры всегда почитались античные образования: эллинские города-государства и римская республика, еще не превратившаяся в сверхдержаву. И когда позже Сисмонди полагает, что итальянские города-республики в своем пестром множестве вплотную приближаются к плодотворному идеалу культурных центров, или когда К. Л. фон Халлер надеется восстановить свой консервативно-монархический идеал в патриархальном укладе предложенного им *патримониального* государства, то опять речь всякий раз идет о государствах небольшого масштаба, представляющихся мыслителям оптимальными. Вольтер полагает, что истинная любовь возможна лишь к отечеству, границы которого не слишком разнесены: «Plus cette patrie devient grande, moins on l'aime, car l'amour partagé s'affaiblit. Il est impossible d'aimer tendrement une famille trop nombreuse qu'on connaît à peine.»^{*25} В этих словах содержится безусловно верная мысль: основой любви к отечеству всегда остается интимная привязанность к родной земле. В самом большом государстве из всех существующих, в Соединенных Штатах Америки, Токвиль нашел подтверждение своему мнению о том, что истоки силы свободных штатов следует искать в самом узком политическом объединении, в римском *municipium*^{**}, в общинах Новой Англии. Тем самым он в известном смысле вернулся к тому представлению об образовании государства, которое Фома Аквинский дал в своем труде *De regimine prin-*

* «Чем обширней становится это отечество, тем меньше его любят, ибо любовь, которую приходится делить со многими, слабеет. Невозможно с нежностью любить слишком многочисленное семейство, которое плохо знаешь» (франц.), — прим. издателя.

** муниципий, вольный город с правом самоуправления (лат.), — прим. издателя.

сiрyм*.

Не вызывает сомнения, что не только старая Священная римская империя, включавшая в себя около тысячи восьмисот более или менее самостоятельных государственных образований (и бесславно отошедшая в историю в 1806 году), была абсурдным творением государственной мысли, но и новый Германский союз, куда все же входило около двадцати пяти государств, был неудовлетворителен как с точки зрения политической теории, так и с точки зрения практической политики. Казалось, что начиная с 1814 года каждый свободолубивый (т.е. истинный) немец был одержим одной только великой мечтой о единстве Германии, прозвучавшей в словах Эрнста Морица Арндта. Между тем это вовсе не так. Историк Арнольд Херен, в чьем немецком патриотизме не приходится сомневаться, видел в возможности будущего объединения Германии «могилу немецкой культуры и европейской свободы». В этом смысле нет ничего более поучительного, чем выяснить, что значило понятие *отечество* для такого истинного и благородного немца как Якоб Гримм в то время, когда он находился на середине жизненного пути и ему еще предстояло показать миру, как он ценит справедливость и свободу. С началом нового 1830 года оба брата вступили в свои должности в Геттингенском университете, который им суждено было столь достойным образом покинуть восьмью годами позже, — сорокапятилетний Якоб, уже снискавший мировую славу, стал профессором и библиотекарем этого университета, а бывший годом моложе Вильгельм — младшим библиотекарем. В начале лета Якоб по заказу Юсти написал краткую автобиографию²⁶, а в ноябре произнес свою речь по случаю вступления в профессорскую должность²⁷. Называется его речь *De desiderio patriae*** . Это типичнейшая латинская речь школярского толка, готовя которую он, судя по всему, в поисках вдохновения основательно перелистал

* *О распорядке начал* (лат.), — прим. издателя.

** *О желании отчизны* (лат.), — прим. издателя.

Цицерона²⁸. Каждое слово его речи говорит о том, что под отечеством Гримм понимал просто *Heimat** в самом узком смысле слова, — место, «где ты с детства истоптал все дороги и тропы, и где из могил предков тебе слышатся голоса, подбадривающие и наставляющие тебя». Немецкий язык, говорит Гримм, называет эту страстную любовь к отечеству прекрасным словом *Heimweh***. Его признание Лахманну в том, что он «*heimlich auch Hessen mit gemeint*»***, было совершенно излишним: в его похвалах немецкому языку нет ни намека на дух общенемецкого политического патриотизма. Эта любовь к родине в самом узком смысле слова проявляется еще более четко в его автобиографии. Отечеством, любовью к которому с детских лет запечатлелась в сердцах Якоба и его братьев, был Гессен, если быть совсем точным, Койр-Гессен, потому что к Дармштадту они практически никаких чувств не испытывали. Привязанность была очень глубокой: он хотел жить и умереть в Гессене, потому и отказался в 1816 году от назначения в Бонн и лишь тринадцатью годами позже крайне неохотно согласился работать в Геттингене. Когда он как один из *Göttinger sieben***** в 1837 году вынужден был покинуть университет и страну, поскольку отклонил предложение короля освободить его от данной ранее клятвы, то сердце его по-прежнему принадлежало старому доброму Гессену²⁹.

Вопрос о целостности Италии для многих был также очень спорным: Наполеон не верил в возможность объединения этой страны, то же можно сказать и о Меттернихе. Этой же точки зрения придерживались и Нибур, и Ранке; даже Джоберти, один из зачинателей *рисорджименто*, как и еще многие итальянцы того времени, представляли себе подобное объединение только в форме союза государств.

Однако неодолимое течение времени несло Италию в

* родина (нем.), — прим. издателя.

** тоска по родине, ностальгия (нем.), — прим. издателя.

*** в глубине души имел в виду и Гессен (нем.), — прим. издателя.

**** Геттингенская семерка (нем.), — прим. издателя.

противоположном направлении. Словно под воздействием силы тяжести все количественные проявления политической, общественной, хозяйственной и экономической жизни начали вдруг сходиться, сосредоточиваясь в некое единое массивное целое. Силы, действовавшие в духовной сфере, сумели удивительнейшим образом подстроиться под это изменение в материальном состоянии мира. Все указывало на то, что уважение к малому государству отошло в прошлое. Еще в XVIII веке, в противовес Монтескье и Руссо, существовала апологетика большого государства, сутью которого является власть, а политическим инструментом — насилие. Одним из первых глашатаев такого государства выступил немецкий историк Август Людвиг Шлецер (1735-1809). Военная мощь, обширные земли и многочисленные подданные — вот показатели, возвеличивающие, по его мнению, государство. Шлецер был напрочь лишен понимания искусства и поэзии, презирал античных греков и полагал, что государство должно осуществлять только политические задачи. Обычно отмечают, что свои счастливейшие годы Шлецер провел в России. Проследивая дальше эту линию восхваления силы, мы видим в XIX веке ряд фигур, вставших единым фронтом против политического идеализма. Первым из них был Иоганн Густав Дройзен (1808-1884). В жизни государства, утверждает он, сила играет такую же роль, какую играет любовь в семейной жизни, вера — в жизни церкви, красота — в искусстве. В мире политики закон силы столь же универсален, как закон тяжести в мире физических тел. — Какова бы ни была доля истины, заключенная в этой формулировке, но как только ею начинают руководствоваться, так сразу же власть и насилие становятся высшими принципами, на которых держится мир, сколько бы Дройзен ни настаивал на том, что эта власть должна зиждиться на праве и свободе.

Все развитие Европы в XIX веке шло в направлении консолидации и роста могущественных держав. Рассеянные между ними малые государства, казалось, отступали на второй план как нечто не заслуживающее внимания и терпимое лишь до той поры, покуда великие державы были заинтере-

сованы в этом и находили для себя удобным следовать международному праву. Почти все умы уверовали в преимущество больших государств. Не случайно в Германии, так долго страдавшей от безнадежной раздробленности и политического бессилия, слово *Kleinstaaterei** стали произносить с презрением и насмешкой. К несчастью, под влиянием общего увлечения количественными показателями люди стали все реже вспоминать, что ни одна из действительно великих и непреходящих ценностей никогда не возникла благодаря существованию великой державы как таковой, наоборот, что все лучшие из наследуемых человечеством плодов мудрости, красоты и цивилизации возросли в самых стесненных в политическом отношении обстоятельствах. Если окинуть взором все то, что мы знаем о немногих тысячелетиях мировой истории, то мы увидим, что нашему истерзанному противоречиями миру намного больше неприятностей доставило *Grossstaaterei***, чем *Kleinstaaterei*. Возможно, в будущем, если только основы культуры останутся прежними, а права и законы вернут себе былое достоинство и вновь будут почитаться, слово *Grossstaaterei* тоже будет произноситься с изрядной долей язвительности.

К середине XIX века в Европе господствуют преимущественно три большие течения мысли: либерализм (как в экономическом, так и в политическом понимании этого слова), набирающий силу империализм и надвигающийся социализм. Какое же влияние оказывали эти силы на чувства, являющиеся предметом нашего разговора — на патриотизм и национализм?

Было бы неправильным полагать, что после французской революции слово *свобода* утратило свое воспламеняющее и чарующее звучание. Идеал свободы, напротив, сделался более ясным и достоверным, и до некоторой степе-

* партикуляризм (нем.), — прим. издателя.

** великодержавие (нем.), — прим. издателя.

ни приобрел более определенные очертания. По своему содержанию представления о свободе в каждом конкретном случае были свои. Для тех, кто жил под гнетом абсолютизма, свобода означала участие граждан в решении государственных дел. Воплощением этой мечты представлялась для многих писаная и утвержденная монаршей присягой конституция, определяющая порядок управления страной. В первое десятилетие реставрации в ряде стран — в Неаполе, в Испании, в России — предпринимались наивные попытки революционного преобразования общества, проникнутые верой в то, что стоит лишь провозгласить конституцию (как правило, составленную по готовому образцу), и блаженство будет достигнуто. Революционные группы, выступавшие в подобных движениях от лица народа, чаще всего не имели никакого другого мандата на свою деятельность, кроме своего страстного вдохновения. Эти группы даже нельзя назвать сплоченными партиями. Более подходящими для их характеристики будут слова *заговор* и *конспирация*, ибо планы их вынашивались в тайных кружках карбонариев, в атмосфере клятв, кинжалов и таинственности. Это была романтическая школа революции. Однако наивность этих восстаний ни в коей мере не умаляет героизма и жертвенности их участников. Владевшее ими чувство стоит ближе к страстному патриотизму, чем к типичным проявлениям национального сознания. При этом отечество, за свободу которого они боролись, могло быть столь обширным, как Россия или Испания, а могло быть и таким небольшим, как Неаполь или Пьемонт.

Но вот вскоре характерное для начала XIX века стремление к свободе воплощается в одном человеке, слившем в своей душе патриотизм и национализм самым органичным образом, — в человеке, чей идеал свободы вобрал в себя все оттенки духовного и общественного возрождения эпохи. Человек этот — Джузеппе Мадзини, апостол объединения Италии. В Мадзини облекается плотью весь идеализм минувшего столетия. И если сам Мадзини в борьбе за национальное единство был скорее мыслителем, чем активным

деятелем, то вовсе не от недостатка мужества или воли к действию. С юных лет готовый принести свою жизнь на алтарь отечества, он дважды был приговорен к смертной казни и свои лучшие годы провел в изгнании. Он ни на минуту не сомневался в реальности и живительной силе прогресса, верил, что национальное объединение, которое виделось ему сквозь призму идей Сен-Симона, принесет с собою решение всех проблем, а борьбу за единство понимал как призвание, возложенное на него проведением. Мадзини повсюду старался поднять на борьбу молодежь, ибо считал, что именно ей суждено отвоевать свободу; одна за другой появляются основанные им организации — Молодая Италия, Молодая Швейцария, Молодая Европа. Революция во имя всеобщего благоденствия, — провозгласил он, — теперь носит имя национального самоопределения и независимости. Свой идеал Мадзини распространяет на все народы и страны, но первой воплотить его призвана Италия. По мысли Мадзини, Франция, став ареной революции 1789 года, уже выполнила свое предназначение, теперь же настал черед вечно юной Италии.

В своем учении Мадзини исходил из чисто спиритуалистических идей. Бог является миру в поступательном развитии и возвышении народов. Прежние устремления каждого человека в отдельности теперь должны уступить место хорошо продуманному коллективизму. Здесь также легко прослеживается влияние идей Сен-Симона. Священную триаду, которую Мадзини считает основой будущего общественного устройства, образуют свобода, равенство и человечность. Выразителем Божьей воли является народ. Единственная достойная форма государственного устройства — республика; волеизъявление путем подачи голосов — священный обряд, в котором народ выполняет свое предназначение. Не какой-то один человек, но весь народ станет мессией этого нового откровения. Народ этот вскоре поднимется и созовет Конвент или Собор. Подобно нисходящему на землю Святому Духу, это собрание будет источать свет — и озарит народы сиянием новых принципов. В отличие от принципов французского Учредительного собрания, новый

конвент провозгласит не права человека и гражданина, а обязанности — возложит на всех и каждого долг самоотверженности, жертвенности и солидарности. К провозглашенным принципам тотчас же присоединятся другие народы. Примечательно, что сама эта форма, в которой мыслится будущее благоденствие, живо напоминает идеи Колы ди Риенцо, хотя Мадзини был несравненно более благородным и чистым человеком, чем этот одержимый фантазиями народный трибун, живший за пять веков до него.

Мадзини отличался бескомпромиссностью и идеализмом — и ему была уготована участь человека, постоянно переживающего разочарования. Друзья отвернулись от него, с Гарибальди он порвал сам; с социалистами он находился в постоянных ссорах, социализм называл учением, озабоченным благоустройством человеческой кухни. В 1859 году он скорее мешал, чем содействовал успеху военных действий. Об итоге войны — о создании итальянского королевства с савойской династией на троне — этот последовательный республиканец не переставал сожалеть до конца своих дней. Однако именно Мадзини и никто иной вселил в сердца итальянцев стремление к единству, именно он научил их презирать раздробленность и отдавать все свои силы великой задаче, которая перед итальянским народом стояла в форме более явной и повелительной, чем перед другими, — в форме необходимости создания единого государства как общего дома для единого народа.

Казалось, что свобода как чисто политический принцип не только легко сочеталась с принципом национального самоопределения, но и требовала признания того, что только этот второй и может служить ей основой. Свобода всегда нуждается в каком-то носителе, государство же, как выяснилось, во многом не смогло взять на себя эту роль. Оно не могло полностью удовлетворять интересам всех своих граждан либо потому, что население в национальном отношении не было однородным, либо из-за того, что органы управления действовали слишком односторонне. Нация же, напротив, была понятием, с которым в то время особенно тесно связы-

валось чувство солидарности. Казалось, будто нация прямо-таки предназначена для того, чтобы стать носителем желанной свободы — как раз потому, что между государством и свободой гармонии не было. Друзья свободы 1789-1793 годов относились к государству без особого почтения. Они полагали, что государство может быть полезным для обуздания подчас излишне дерзких и безрассудных проявлений свободы, однако в остальном, по их мысли, ему надлежало как можно меньше вмешиваться в жизнь общества. Так же понимали назначение свободы и задачу демократии Томас Джефферсон и его единомышленники в молодой федерации Соединенных Штатов. Но вскоре федерации пришлось на деле убедиться, что подобная недооценка роли государства не идет на пользу свободе. В европейских странах, где политические традиции были несравненно старше, существовало, как правило, некое равновесие между государственной властью и свободой. В политическом либерализме и борьбе за национальную независимость здесь видели несомненные формы прогресса, но не более того.

Между тем уже с давнего времени идеал свободы перестал носить чисто политический характер, но приобрел еще и экономический смысл. Неуклонное развитие материальных основ жизни все настойчивее выдвигало на первый план интересы промышленности, торговли и сельского хозяйства. Для поколения, воспитанного на учении Бентама и превыше всего ценившего пользу, понятие благосостояния стало чуть ли не символом веры. Сам по себе свободный рынок практически никак не соотносился с патриотизмом и национализмом. Однако на деле идеал свободного предпринимательства по необходимости отливался в формы государства, страны и народа, ибо реальными составляющими жизни экономической и коммерческой были не судоходство, торговля зерном, разработка недр или банковское дело, а специфические проявления этих сторон рынка в различных странах, применительно к имевшимся там условиям. Уже в средние века практически каждое государство пыталось по возможности более жестко направлять торговлю к выгоде своей казны и своего

народа. Теперь же возникло учение о свободном рынке, грозившее запретить государству вмешиваться в какие бы то ни было вопросы экономики. Идеал свободы принял новую, крайне утилитарную и чисто материальную форму. При всем том он оставался идеалом. Ричард Кобден был, несомненно, не меньшим идеалистом в области экономики, чем Мадзини в области политики, и не уступал ему в оптимизме. В его проповеди *common sense and plain morality** скрывается тот же священный огонь, та же бескорыстная преданность, что и в пророческих речах знаменитого итальянца, — но и в точности та же иллюзия. Манчестерская школа исходила из допущения о мире как упорядоченной системе, движущейся по пути прогресса, чтобы в итоге стать сообществом самостоятельных, равноправных государств, в которых преобладают законность и доброжелательность, а здоровое соперничество никогда не перерастает в столкновения, — так что в целом производство и обмен неуклонно ведут эту систему к благосостоянию и довольству. Согласно этой теории основными производителями являются географически далеко отстоящие друг от друга страны со своими природными ресурсами, причем каждая страна должна производить по возможности ту продукцию, для которой обходится собственным сырьем. Свободной конкуренции на международном рынке надлежало вносить гармонию в товарообмен, тем самым гарантируя общее благоденствие. Дешевому товару была уготована роль лекарства от всех социальных зол, поскольку снижение стоимости товара должно автоматически повлечь за собою необходимые социальные преобразования и стать гарантией мира. Свободная торговля, как писал Кобден, привет человечеству здоровый, благотворный интерес к культуре. Организация экспорта и невмешательство в процесс производства станут определяющими элементами в политике всех будущих правительств. На этом пути Англия послужит для других стран примером и вожак. Политика равновесия

* здравый смысл и незамысловатая мораль (англ.), — прим. издателя.

сил — уже пройденный этап, равно как и политика колониальной экспансии. Тот день, когда у Англии не останется ни пяди земли на азиатском материке, будет ее счастливейшим днем.

Все это было очень славно придумано, но выстроенное здание зиждилось на очень большом *если*: если мир и вправду будет так благоразумен, как того требовала система, и если факторами в этом процессе действительно будут производственные единицы, характеризующиеся их географическим положением, а не уже существующие государства со всей их изменчивостью и дисгармоничностью. Но дело не только в этом. Даже в самом совершенном варианте кобденовская система, суть которой можно сформулировать как *каждый за себя, а свобода — для всех нас*, допускала существование опасного антагонизма на национальной основе, можно даже сказать, признавала потенциальное право сильнейшего, также заложенное в этой системе. Теория экономической свободы, с одной стороны, таила в себе зачатки необузданного разрастания капитализма, с другой стороны, в ней скрывались зародыши неминуемого империализма, свойственного более сильным государствам и народам. Ни одно из условий, необходимых для воплощения этой системы в жизнь, не было реализовано ни тогда, ни прежде, ни в последующее время. Природные ресурсы распределялись между странами-производителями слишком неравномерно. Поведение государств плохо отвечало нормам международного права. К тому же, вопреки манчестерцам и Марксу, государства руководствовались отнюдь не одними только экономическими интересами. Такие политики как Кавур и Бисмарк мыслили совсем иными категориями и ориентировались в своих действиях на совсем иные мерки, чем Кобден или Мадзини. Учение о свободной торговле и неучастии государств в решении экономических вопросов, хотело оно того или нет, в целом скорее содействовало, чем препятствовало уточнению национальной, я бы даже сказал, националистической конфигурации Европы.

Между тем в середине XIX века на политической арене появилась фигура, которая могла на деле подвергнуть испытанию на прочность самый принцип национальной независимости: Наполеон III, политический авантюрист, ставший императором, прожектёр-теоретик в сфере общественной и экономической жизни, — человек, которому было суждено сыграть главную роль в европейской политике того времени. Нас сейчас интересует только его отношение к национальному вопросу, поэтому не станем вспоминать иных подробностей, слишком хорошо известных. Было ли его выступление в пользу единства Италии чем-то большим, чем непродуманным возвратом к давно уже устаревшей антиавстрийской политике? Можно ли допустить, что закончившееся провалом французское вторжение в Мексику было затеяно им во имя национальной независимости этой страны, а не ради дешевого успеха у европейской политической галерки? Нам скорее всего никогда не удастся разгадать ход мыслей этого в целом поверхностного — несмотря на все его бесспорные таланты и благие намерения — человека. Как бы то ни было, он не привнес никаких новых и существенных элементов в развитие национальных начал Европы.

Пока Вторая империя упускала свои шансы и роняла престиж Франции на международной арене, по другую сторону Ла-Манша Палмерстон и Дизраэли продолжали создание мощной структуры власти, которую на протяжении всей второй половины XIX века можно было с полным основанием назвать и националистической, и империалистической. Собственно говоря, националистической политики Англия придерживалась начиная со средневековья. Мы уже отмечали, что в английском языке два значения — национальное самосознание и стремление к национальному превосходству — передаются одним и тем же словом. Империалистической же эта политика в силу обстоятельств стала лишь начиная с XVIII века. Положение Палмерстона было совсем неплохим, поскольку в тех странах мира, где, по его мнению, ущемлялись те или иные интересы Англии или куда он хотел сунуть нос, чтобы впутать Англию в чужие дела, он мог

диктовать свою волю, используя всевозможные методы дипломатического давления. Он вел весьма безрассудную политику, встречавшую противодействие даже в Великобритании. Сами британцы именовали *джингоизмом* заносчивый и кичливый национализм своего соотечественника. Наблюдавшееся во многих странах в последней четверти XIX века огрубление национального сознания, было, несомненно, самым тесным образом связано как с грубой прямолинейностью выступлений печати по национальному вопросу, так и с начинающейся гонкой вооружений, явившейся в свою очередь роковым последствием европейских войн после 1864 года. Во Франции партия, впервые откровенно назвавшая себя националистической, выросла на основе реваншистских идей. Фигуре Поля Деруледа, основателя *Ligue des Patriotes**, поэта, сочинившего *Chants du soldat***, присущи многие черты, которые в следующем веке станут типичными для национал-активиста. Он хочет заменить *république parlementaire**** на *république plébiscitaire*****. Этому теоретическому идеалу Деруледа суждено было впоследствии стать действительностью в форме народной деспотии. Дерулед был причастен к движению генерала Буланже, к его замыслам и попытке переворота в Елисейском дворце; метод путча приобретал все большую популярность.

В тех малоутешительных событиях, которые сообщили последним пяти годам XIX века характер расшатывания устоев и вырождения, — примером могут служить дело Дрейфуса и трансваальская экспедиция Джеймсона, — еще не вполне оформившийся национализм играл значительно большую роль, чем можно было полагать. Никто не мог тогда и помыслить, к каким крайностям приведет он в XX веке, став движу-

* Лига патриотов (франц.), — прим. издателя.

** Песни солдата (франц.), — прим. издателя.

*** парламентская республика (франц.), — прим. издателя.

**** плебисцитарная республика (франц.), — прим. издателя.

щей силой политической и культурной жизни в целом. Напротив, в конце XIX века должно было казаться, что совсем другой, широкий и мощный поток идей вот-вот унесет с собою все, что когда-то было патриотизмом и национализмом, что патриотизм и национализм, неспособные противостоять силе нового потока, исчезнут навсегда. Поток этот носил имя социализма. Это учение по сути своей отрицало национализм и на протяжении более чем полувека пассивно противодействовало силам империализма и милитаризма. У пролетариев нет отечества, учил Маркс. В тот поворотный в истории Европы год, когда появился *Коммунистический манифест*, социализм был потоплен в крови на улицах Парижа и на несколько десятилетий перестал непосредственно угрожать установившемуся порядку. Отступив на время с политической авансцены, он всецело углубился в создание подпольных организаций, в философское и научное обоснование теории и в готовившую почву будущему пропаганду. Но несмотря на деятельность Интернационала, несмотря на обращение к пролетариям всех стран — работа социалистов, их организация и пропаганда не могли разворачиваться иначе как внутри реально существовавших государственных границ. Социал-демократия могла развиваться только в форме содружества отдельных национальных партий. Однако чем сильнее становилась организация, тем отчетливее вырисовывался ответ на вопрос, сумеет ли социализм в решительный час остаться верным своему интернационализму. И вот этот час испытания пробил: август 1914... В том, насколько быстро и с каким единодушием социалисты вступивших в войну стран отказались от политики противодействия своим правительствам, можно было усмотреть серьезное предостережение. Это отступничество ясно показало, как далеки так называемые идеологические учения нашего времени от тех убеждений, за которые некогда шли на смерть мученики веры.

Чтобы не переступить нами же установленной для данного очерка временной границы, обратимся в заключение

еще раз к двум интересующим нас явлениям, взяв их, как и прежде, в самом широком плане, — в их исторических формах и проявлениях. Стоит ли выяснять лежащие в их основе исторический и социологический факторы? Такие попытки предпринимались не единожды³⁰. В ходе нашего обсуждения мы уже говорили об истоках этих чувств. Любовь к родине мы выводили из древних представлений о власти, олицетворяемой в едином правителе и описанной уже в Ветхом Завете. Национальное самосознание мы связывали с конфессиональными узами, в которых протекает жизнь человека, с внешней опасностью, побуждающей к сплоченности, и с рядом других условий. Все эти объяснения, возможно, и справедливы для тех конкретных случаев, применительно к которым их дают, однако в них мало нового, и они практически никак не обогащают тот простейший смысл, в каком любой человек поймет эти два термина. Создается впечатление, что оба понятия постоянно стремятся сузиться до своего первоначального смысла — до значения примитивного чувства привязанности, верности, солидарности. Изменяемые и многоцветные наряды, в которых они являются на подмостках истории, создают у нас впечатление роста и развития. Бросим, однако, взгляд на психологическое, социологическое и этическое содержание этих понятий.

Один из древнегреческих философов сводил все происходящее в космосе к вечному противопоставлению двух категорий — любви и вражды. Попробуем и мы встать на его точку зрения и ответить на вопрос: к которой из этих категорий принадлежат рассматриваемые явления? Ответ приходит мгновенно: патриотизм несомненно принадлежит к области положительной. Самая лексика говорит за это: ведь он — *любовь* к отечеству. Но, быть может, переведя этот термин с латыни на родной язык слишком буквально, мы облагораживаем самое понятие? Если главный признак настоящей любви состоит в том, что она больше дает, чем берет, то пусть-ка добрый патриот проанализирует свои чувства в этом ракурсе. Когда речь идет о прирожденной привязанности человека к чему-то своему, родному, такая привязанность

еще не заслуживает названия любви. Если в государстве царит покой, если управление осуществляется наилучшим образом, то в этом случае верность отечеству, преданное служение ему своим трудом и собственностью в основном совпадают с личными жизненными интересами человека. В ответ на верность своих граждан государство обеспечивает им безопасность, правовую защиту, а иногда — и известную свободу. Так что в этом случае в исполнении своих обязанностей в отношении государства гражданин руководствуется далеко не только любовью. И лишь тогда, когда отечество оказывается в опасности, служение ему становится жертвой и страданием, а верность — любовью. В настоящее время мир вновь с содроганием видит, на что способна истинная, выношенная и решительная любовь к отечеству.

Мы уже упоминали вскользь о том, что патриотизм порою может приобретать характер сильного переживания, глубокого волнения. На этот счет можно было бы сказать немало, однако приняться за это означало бы перейти от истории к лирике. Наше чувство родной земли расцветает в атмосфере детских воспоминаний и сладких грез о том, что уже миновало. Все это называется словом *ностальгия*. В нас просыпается запах полей и сосен, солоноватый аромат морского побережья. Это чувство подкрепляется различными символами. Один из таких символов — национальный гимн (впрочем, просто народная песня, эта древняя форма лирики, не знающая своих авторов, тоже теснейшим образом переплетается с чувством родины).

Большинство существующих национальных гимнов относительно молоды. Некоторые из них возникли совершенно случайно, некоторые были написаны по заказу. Почти неважно, насколько текст гимна подходит к имеющейся в стране политической обстановке; не страшно, если он отражает положение дел столетней давности, — ведь, вообще говоря, ниоткуда не следует, что все в гимне должно быть *up to date**. К тому же, обычно человек помнит из него наизусть

* на уровне современных требований (англ.), — прим. издателя.

максимум один-два куплета. Однако совершенно уникальной можно назвать ситуацию с гимном в нашей стране. В тот героический час, когда в битве против испанского владычества рождалось новое государство, возникла боевая песня, страстный призыв к борьбе за освобождение. Эта песня приобрела символическое общенациональное значение: ведь в ней к согражданам обращался сам основоположник нашей свободы, принц Вильгельм Оранский. Мелодия, поначалу немного легкомысленная, вскоре была поправлена и стала более строгой, но с течением времени певший ее народ вновь забыл об излишней серьезности, придав своему гимну звучание праздничное и бодрое. Однако в период гражданских волнений 1814 года эта задорная нота в песне *Вильгельмус* обрела вдруг некое новое политическое звучание — и встревожила отцов государства, которые сочли звуки старого гимна чуждыми духу времени. И вот был объявлен конкурс на новый национальный гимн. Выбор был сделан в пользу текста Толленса *В ком нидерландская кровь...* В учебнике голландской литературы моего детства говорилось, что текст этот был отобран незаслуженно, что слова Толленса жюри предпочло «гораздо более удачному стихотворению Й. Бранда ван Кабау *Мы живем свободными*». Если это и впрямь так, то все к лучшему, ибо в противном случае еще более удачный текст, *Вильгельмус*, возможно, так и остался бы в забвении. Восстановление музыки этого гимна имело огромное патриотическое значение. Но и поэтический текст тоже был как бы открыт заново. На это событие новое поколение откликнулось с радостным воодушевлением; старинный гимн нашел полнозвучный отклик в обновленной душе нидерландского народа; оказалось, что слова песни, в течение почти четырех веков не перестававшей быть источником народной силы, не утратили ни способности трогать сердца, ни своей сдержанной торжественности. Пока жива наша страна, слова этой песни будут *up to every date**.

* подходящими для любого времени (англ.), — прим. издателя.

Обратимся еще раз к одному из рассматриваемых явлений, к национализму, противопоставив его патриотизму. Мы уже взглянули на оба понятия с точки зрения древнего представления о космосе как о двуединстве любви и вражды, и отнесли патриотизм к области положительного, к любви. К этому следует добавить, что патриотизм находится в тесной зависимости как от субъективного восприятия, так и от конкретного случая. Патриотизм характеризует одновременно и психическое состояние, и место человека в обществе, и его жизненную позицию. В патриотизме заложены сила и страсть — но в отрыве от конкретной ситуации патриотизм не имеет никакой самостоятельной, имманентно присущей ему формы.

Национальное сознание, напротив, можно рассматривать как некую объективно заданную величину, ее можно анализировать, о ней можно судить, ей можно давать оценки. Теоретически национальное сознание — это вера, на деле — это в первую очередь гордыня. Оно живет там, где есть соревнование и противостояние, то есть принадлежит области раздора. Взаимоотношения между нациями можно представить себе при желании как благородное соперничество, но в любом случае придется признать, что среди стоявших у колыбели народов фей, были, несомненно, фея высокомерия и фея алчности, фея ненависти и зависти. Высокомерие оборачивается заблуждениями и слепотой. Народу, воображающему себя властелином, естественным образом требуются рабы. Но откуда их взять в наши дни, если невольничьи рынки древности закрыты? — Народ ощущает себя носителем высокой миссии, полагает, что призван совершить нечто великое, верит в свою избранность. При этом ему уже больше не требуется представление о Боге, возложившем на него высокую миссию, ибо нация — величина самодостаточная. Все это жалкие иллюзии, порожденные стадным чувством и унаследованными от состояния дикости низменными инстинктами. Мы склонны преувеличивать этическую ценность сознания принадлежности к избранному народу, ибо впервые сталкиваемся с подобным сознанием у еврейско-

го народа, которому удалось поднять идею о собственной избранности от примитивных, изначальных форм до высот иного порядка, неизбежно укоренив ее в вечности.

Чтобы не заканчивать на столь грустной ноте, скажем несколько слов не о воинствующем национализме, а о нации как духовном и историческом явлении. Каждый здравомыслящий и цивилизованный человек любит не только свой народ, но и какие-либо другие известные ему и милые его сердцу народы и страны. Вызовите в своем воображении одну из таких любимых вами стран — и вы испытаете радость. Для этого нет нужды вновь воочию увидеть ее пейзажи, бродить по ее музеям или твердить стихи ее поэтов — в вашем представлении все эти элементы, все эти сокровища другого народа сольются в единый образ. Вам сами собою явятся видения дивного искусства и неповторимых форм жизни этого народа, вы внезапно ощутите трепет перед его славной историей, произвольно увидите манящие горизонты его земли, вы почувствуете, как мудро и значительно его слово, услышите звуки его бессмертной музыки, проникнетесь ясностью его языка, глубиной его мысли, вы уловите аромат его вин, в душе вашей отзовется его мужество, сила и молодость. И все это будет отмечено для вас тем неуловимым, но и неистребимым знаком единственного на земле народа, бесконечно милого вам, хотя вы к нему и не принадлежите. Все это — для вас не родное, но вместе с тем и драгоценное, все это — богатство и изобилие вашей собственной души. Откуда же тогда вражда, зависть и ненависть?

Мы развернули свиток истории только до последних лет девятнадцатого века, не переступая границы двадцатого. Но не потому, что братья-близнецы, чей образ мы набросали в ходе нашей беседы, к началу двадцатого века исполнили свои роли в мировой драме и покинули сцену. Мы остановились потому, что не хотим, чтобы на увиденную нами узкую полосу минувшего, выхваченную из тьмы фонариком исторической науки, упали снопы света прожекторов, шарящих сегодня по ночному небу. Мы расходимся по домам как зрители,

не досмотревшие пьесы. Занавес опускается под доносящиеся — пока еще издали — крики ужаса и отчаяния, под звуки мольбы о сострадании, в то время как узел трагических противоречий затягивается все туже и туже. — Давайте же условимся считать, что мы оставляем нашу тему, не имея представления о том, что последует дальше. Давайте постараемся уподобиться тем, кто готовился отметить наступление нового — двадцатого — века, уподобиться нам самим, какими мы были сорок лет назад, когда могли еще верить, что только что завершившаяся первая мирная конференция станет зарей новой, блистательной эры прогресса и цивилизации.

ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА

К работе:

ЗАДАЧА ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ

1. (См. текст стр. 7).
2. Слово *реалист* за исключением специально оговоренных случаев следовало бы употреблять только как антоним слова *номиналист*. Это схоластическое противопоставление и сейчас чрезвычайно важно для нашего мышления и нашего языка. Не перестаю удивляться, как часто слово *номиналистический* стало опять употребляться в научной литературе.
3. Назовем E.Rothacker, Logik und Systematik der Geisteswissenschaften (Handbuch der Philosophie). München und Berlin 1927; Theodor Litt, Wissenschaft, Bildung, Weltanschauung, Leipzig-Berlin 1928; несколько в ином аспекте Hans Freyer, Theorie des objektiven Geistes, 2e Aufl., Leipzig-Berlin 1928. Новый иск безраздельному господству естественно-научных методов недавно предъявил W. Ostwald: Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Januar 1929.
4. Cf. Litt l.c., p. 13 и Karl Joël, Kantstudien 1927, Heft 4.
5. Cf. Rothacker l.c., p. 80 ss.
6. Cf. Rothacker l.c., p. 85 ss.
7. См., например, как Анри Се использует этот термин в статье L'idée d'évolution en histoire, Revue philosophique, 52, 1926, p. 161.
8. W. Bauer, Einführung in das Studium der Geschichte 1928, S. 150.

9. Arcessiones historicae, cit. Revue de synthèse historique, t. 23, p. 266.

10. Здесь можно провести сравнение не со смертью отдельной биологической особи, а с катастрофической гибелью целого вида, что в природе оказывается также историческим, а не биологическим явлением. На исторический элемент в биологических науках указывает Litt l. c., p. 35 s.

11. О влиянии политических и других факторов, лежащих вне экономической жизни как таковой, на формирование общей экономической системы см. O. Hintze. Der moderne Kapitalismus als historisches Individuum, Historische Zeitschrift, 139, pp. 466, 476, 479.

12. Ср. со след. Litt, l.c., особенно стр. 4,19, а также E. Spranger, Die Kulturzyklentheorie und das Problem des Kulturverfalls, Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, Ph. H. Klasse, 1926, p. LI.

13. В данном случае я основывался на учении Андре Жолля о простых литературных формах, составившем основу книги, которая, будем надеяться, скоро увидит свет.

14. La démocratie en Amérique III, p. 113, 115.

15. Le mal romantique, 1908, Les mystiques du néo-romantisme, 1911, Le péril mystique dans l'inspiration des démocraties contemporaines, 1918, Les origines romanesques de la morale et de la politique romantiques, 1920.

16. К своему удовлетворению замечая, что H. Temperley, Foreign Historical Novels, Historical Association Leaflet, no. 76, 1929, разделяет мое отвращение к ароматизированным историческим сочинениям, хотя, по-моему, он преувеличивает ценность настоящего исторического романа для знания истории.

17. l. c., p. 166.

18. Historische Zeitschrift, t.120, p. 290.

19. S. 39.
20. Geschichte und Naturwissenschaft. S. 31.
21. Historische Zeitschrift, t. 112, p. 153.
22. Wissenschaft, Bildung, Weltanschauung, p. 97 sq.
23. Cf. Litt, l. c. — 21, 22.
24. Der Säkuläre Rhythmus der Geschichte, Jahrbuch für Soziologie, I, 1925, S. 159, 146.
25. Logik und Systematik der Geisteswissenschaften, p. 82.
26. Sitzungsberichte der Preussischen Akademie etc. 1926, S. XLVII.
27. Cf. W. B. Kristensen, De goddelijke bedrieger, Mededeelingen der Kon. Akademie van Wetenschappen, afd. Lett., 66 B no. 3, Amsterdam 1928; Fritz Blanke, Der verborgene Gott bei Luther, Berlin, Furche-Verlag 1928.
28. Насколько я понимаю, грамматики применяют слово *морфология* почти исключительно в значении внешней формы слов.
29. См. интересное рассмотрение этого вопроса Р. фон Лилиенкроном (Rochus von Liliencron in Zeitschrift für Vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur, NF III p. 24); ср. также F. Kern, Dante (Kämpfer, Grosses Menschentum aller Zeiten, Bd. I) Berlin 1923, Paul Piur, Petrarca's Buch ohne Namen und die Päpstliche Kurie, Halle S.1925, p. 35 sq. и приводимая там литература.
30. Даниил VII, 3-28; II, 31-46.
31. Допш вкратце изложил свои взгляды в работе Vom Altertum zum Mittelalter, Das Kontinuitätsproblem, Archiv für Kulturgeschichte XVI, p. 159.

32. Mahomet et Charlemagne, Revue belge de philologie et d'histoire, 1922.
33. La fin du monde antique et le début du Moyen âge, 1928.
34. Altertum, Mittelalter, Neuzeit in der Kirchengeschichte, Ein Beitrag zum Problem der historischen Periodisierung, Tübingen 1921.
35. Tübingen 1922.
36. Über historische Periodisierungen usw., Einzelschriften zur Politik und Geschichte no. 11, Berlin 1925.
37. P. Joachimsen in Historische Zeitschrift 134, 1926, S.372.
38. Die Perioden der Weltgeschichte, Historische Zeitschrift, 127, 1923, S.1-49.
39. см. часть XLI и последующие.
40. см. его же работу *Moyen âge et Temps modernes etc.* (по поводу выше-указанного сочинения фон Белова), *Revue de synthèse historique* 43, 1927, p. 69.
41. *Revue de synthèse historique*, t. XLII, p. 65, 66.
42. Ср. очень важную работу Шпрангера: E. Spranger, *Die Kulturzyklen-theorie und das Problem des Kulturverfalls*, *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie*, Ph.H.Kl., 1926, S. XXXV.
43. *Die Geschichtswissenschaft in ihren Hauptrichtungen und Aufgaben*, Berlin 1886, I 279, II 1891. Ср. другие высказывания в том же духе: Bernheim p. 81 sq., Bauer p. 111.
44. W. Vogel, *Über den Rhythmus im geschichtlichen Leben des abendländischen Europa*, *Historische Zeitschrift*, 129, 1924, p. 1-68. K. Joël, *Der Säkuläre Rhythmus der Geschichte*, *Jahrbuch für Soziologie*, 1925.

45. *Das Problem der Generation in der Kunstgeschichte Europas*, Berlin 1926.
ср. Alfred Lorenz, *Abendländische Musikgeschichte im Rhythmus der Generation*, 1928.

46. Pinder l. c. p. 20 sq. Он отдает себе отчет в этих затруднениях, но путем рассуждений старается от них избавиться. Сходные с моими возражения против учения о поколениях приводятся Люсьеном Феввром: Lucien Febvre, *Bulletin du centre international de synthèse* no. 7, juin 1929.

К работе:

ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ ИДЕАЛАХ

1. (См. текст стр. 91).

2. Commynes I 390 (ed. De Mandrot): «Il désiroit grand gloire, qui estoit ce qui plus le mettoit en ses guerres que nulle autre chose; et eust bien voulu ressembler à ces anciens princes dont il a esté tant parlé après leur mort.» Philippe Wielant, Antiquités de Flandre 56: «Il estoit rude et dur en telles manières et ne prennoit plaisir qu'en histoires romaines et es faicts de Jule Cesar, de Pompée, de Hannibal, d'Alexandre le Grand et de telz aultres grandz et haultz hommes, lesquelz il vouloit ensuyre et contrefaire.» Vgl. Olivier de la Marche II 334.

Коммин I, 390 (изд. Де-Мандро): «Он жаждал великой славы и более, чем на что-либо иное, полагался в этом смысле на свои войны; он охотно уподобился бы древним царям, о которых столько говорили после их смерти.» Филипп Вилант, Фландрские древности 56: «В этих своих привычках он был тверд и настойчив, и единственной его утехой были рассказы из римской истории, дела Юлия Цезаря, Помпея Ганнибала, Александра Великого и других великих и возвышенных мужей, которым он хотел следовать и которых хотел превзойти.» Ср. Оливье де ла Марш II, 334. (франц.)

3. Аграрные законы 1906 и 1910 годов по существу положили конец этой системе.

4. Olivier de la Marche I, 145.

5. Согласно Эд. Мейеру, лишь представление о золотом веке основывается на народном мифе, а серебряный и последующие века, по его мнению, придуманы Гесиодом. Genethliakon Carl Robert 1910, 174.

Тот факт, что индусы различают пять периодов, отнюдь не опровергает этого предположения. Индийская последовательность веков носит скорее умозрительный, чем мифологический характер, ср.:

R. Roth, *Der Mythos von den fünf Menschengeschlechtern bei Hesiod und die indische Lehre von den vier Weltaltern.* (Tübinger Universitätschriften 1860.2.)

6. Tacitus, *Ann.* III 26; Posidonius ap. Senecam *Ep.* 90; Dionysius Halicarn. I, 36; cf. E. Graf, *Ad aureae aetatis fabulam symbola*, *Leipziger Studien z. class. Phil.* VIII 1885, 43 sq.

7. H. Oldenberg, *Die Religion des Veda* (1894) 532 ff.; E. Rohde, *Psyche* 98 f.; E. Meyer *l.c.* 173.

8. *Atharvaveda* XVIII 3, 13.

9. *In festo ss. apostolorum Petri et Pauli sermo* I, S. Bernardi Claravallensis, *Opera*, ed. Paris 1719 I 995; Cf. *Epist.* 238 ad dn. papam Eugenium (I 235): «*Quis mihi det, antequam moriar, videre ecclesiam Dei secut erat in diebus antiquis: quando apostoli laxabant retia in capturam, non in capturam argenti vel auri, sed in capturam animarum.*»

Во славу апостолов Петра и Павла речь I. Труды св. Бернарда Клервоского, Париж 1719, I, 995; ср. Письмо 238 к папе Евгению, I, 235: «Кто даст мне узреть, прежде чем умру, церковь Божью, какою она была во дни древности, когда апостолы раскидывали сети для ловли, но не для ловли золота или серебра, а ради уловления душ» (средневеков. лат.). — ср. I 734, II 785, 828.

10. *Paradiso* XI 64: «*Questa, privata del primo marito, / Mille cent'anni e più dispetta e scura, / Fino a costui si stette senza invito.*»

«Она, супруга первого лишась, / Тысячелетье с лишним, в доле темной, / Вплоть до него любви не дождалась.» (пер. М. Лозинского.)

11. Фома Аквинский перечисляет все плоды евангельской бедности: «*paupertas confert multa: primo peccatorum recognitionem... secundo virtutum conservationem... tertio cordis quietem... quarto desiderii impletionem... quinto*

divinae dulcedinis participationem... sexto exaltationem... septimo coelestem haereditatem.» (In Isai. 48, ed. Antverp. 1612 XIII f. 40 vs.)

«бедность приносит многое: во-первых, распознавание грехов... во-вторых, сохранение добродетелей... в-третьих, мир в сердце... в-четвертых, преисполнение желания... в-пятых, соучастие в божественной усадле... в-шестых, восхищение... в-седьмых, небесное наследование» (лат.).

12. «Beatus ille qui procul negotiis, ut prisca gens mortalium...» Horat. Epod. II 2; cf. Propertius III 13, 25-46, Calpurnius, Bucolica I, 44.

«Блажен, кто далек алчности и суеты, и, подобно древним...» Гораций, Эподы II 2; ср. Проперций III, 13, 25-46, и Кальпурний, Буколика I, 44.

13. Dümmler, Poetae latini carolini aevi, Monumenta Germaniae, Poetae latini I 269, 270, 360, 384.

14. Recollection des merveilles advenues en notre temps, ed. Kervyn, Chastellain VII 200.

15. Словосочетанием «форма жизни» (ср. «образ жизни») передан важный для Хейзинги термин *levensvorm*, обозначающий форму, на которую человек ориентирует свою жизнь. Ср., например, в подзаголовке его книги «Осень средневековья»: *Studie over levens — en gedachtenvormen...*, в русском переводе: Исследование форм жизненного уклада и форм мышления... (И. Хейзинга, М. Наука, 1988). — Прим. переводчика.

16. Буколика и сказания о золотом веке тоже в какой-то мере связаны с сакральными обрядами.

17. Le livre des faits du bon chevalier messire Jacques de Lalaing, ed. Kervyn, Chastellain VIII 254.

Об авторстве см. Doutrepoint, La littérature française à la cour des ducs de Bourgogne, 99, 483.

18. Мне представляется нецелесообразным рассматривать куртуазный идеал вне связи с рыцарским, словно бы первый вовсе не зависел от вто-

рого, — как это делает Векслер (Wechsler, *Das Kulturproblem des Minnesangs*).

На мой взгляд куртуазный идеал есть конкретизированная и наиболее изысканная разновидность рыцарского идеала.

19. Monstrelet IV 65, Basin III 57.

20. Froissart, ed. Luce et Raynaud IV 69; ed. Kervyn, V 291, 514.

21. *Chronique de Berne*, (Molinier no. 3103, Kervyn, Froissart II 531): Post plures excusationes vovit «quod fieret soldarius illius a quo majus lucrum haberet, dicens quod gallo rostrum vertenti contra ventum assimilaretur, eo quod cum illo se teneret a quo pecunias largius acciperet. Quibus dictis, Anglici astantes ridere coeperunt».

Хроника Берна... : После многих лишений он поклялся, «что станет наемником того, кто ему лучше заплатит, сказав, что готов уподобиться петуху, который поворачивает клюв в сторону ветра, и стать на сторону того, от кого больше получит денег. Услыхав эти слова, англичане, стоявшие тут, расхохотались» (средневек. лат.). Сравните со словами, приписываемыми тому же Бомону автором поэмы: *Le vœu du héron*, vs.354-371, ed. Société des bibliophiles de Mons, no. 8, 1839, p.17. Вопрос о том, какова историческая основа этого рассказа, не играет роли. В знаменитых *Vœux du faisan* в Лилле в 1454 году один дворянин дает такой обет: «que, s'il n'a pas obtenu les faveurs de sa dame avant la croisade, il épousera, à son retour d'Orient, la première dame ou damoiselle qui aura vingt mille écus» («что если после крестового похода он не добьется расположения своей дамы, то женится, возвратясь с Востока, на первой попавшейся, у которой будут двадцать тысяч эку» (франц.).)

Doutrepont l.c III. О карикатурном турнире см. Molinet, *Chronique* III 16.

22. W. Schrötter, *Ovid und die Troubadours*, Halle 1909; K. Heyl, *Die Minnetheorien in den ältesten Liebesromanen Frankreichs*, Marburg 1911; Edm. Faral, *Recherches sur les sources latines des contes et romans courtois du moyen-âge*, Paris 1913.

23. О значении христианского идеала для Ренессанса см. K. Burdach, *Sinn und Ursprung der Worte Renaissance und Reformation*, Sitzungsberichte K. Preuss. Akad. d. Wiss. 1910, 594, и E. Walser, *Christentum und Antike in der Auffassung der italienischen Renaissance*, Archiv. f. Kulturgeschichte XI, 1914, 273.

24. Уже Фруассару свойственно восприятие рыцарских обязанностей в чисто ренессансном духе, см. ed. Luce et Raynaud I 3-4; IV 112. Ср. также Chastellain: «Honneur semont toute noble nature, d'aimer tout ce qui noble est en son estre.» — Честь украшает всякую благородную натуру, любовь ко всему благородному — ее сущность (старофр.). *Le dit de vérité*, Œuvres VI, 221.

25. D.Schäfer, *Weltgeschichte der Neuzeit I*(I Auflage, 1907) S. 7.

26. *Historische Zeitschrift* 105, 1910, 456.

Потребность увязать новую немецкую культуру, над созданием которой сейчас, как им представляется, работают немцы, с германскими доисторическими временами, не ограничивается монументальным искусством и национальной поэзией. Поясним это утверждение несколькими примерами. В строгой и чисто-научной работе Л. Шмидта (L. Schmidt, *Geschichte der deutschen Stämme bis zum Ausgange der Völkerwanderung*) для не-немецкого читателя оказывается неожиданным, что автор, рассказывая о деяниях Арминия (II, 2, 1913, 105, ff), дает выход своему современному национальному чувству. Арминий — это «einer der grössten Helden unserer Nation» (один из величайших героев нашей нации), к которому Германия должна испытывать величайшую благодарность; он — «die erste entschiedene Verkörperung des nationalen Gedankens» (первое действительное воплощение национальной мысли), человек, обладающий «angeborene Genialität» (прирожденной гениальностью), это «die Lichtgestalt des Cheruskerfürsten» (это светило среди представителей херусков). На отношения между римлянами и херусками также проецируются чисто современные представления: «Freilich war der Sieg nicht in offener Feldschlacht, sondern durch einen hinterlistigen Ueberfall gewonnen worden. Aber die Deutschen hatten den Römern doch nur mit gleicher Münze gezahlt, die selbst mit Treulosigkeit und Bruch des Völkerrechtes ihnen vorangegangen waren.» Лампрехт в своей книге

«Император» (Lamprecht. Der Kaiser, 1913) акцентирует подмеченные им общие черты (впрочем, чисто внешнего характера) между нынешней развитой культурой народа и его первобытными временами (Urzeit). К их числу он относит, например, демократические устремления, свойственные германцам в XX веке и в доисторические времена. Он обнаруживает у Вильгельма II сильные «*Reste einer urzeitlichen Veranlagung*» (следы заложенного в незапамятные времена), проявляющиеся в его Ahnenkult (культе предков), в его отношении к Богу и в понимании того, что такое преданность народа своему правителю (стр. 6, 40, 42, 47). Этот повышенный интерес к первобытным временам теснейшим образом связан с непоколебимой верой «*an die besondere weltgeschichtliche Berufung und Begabung des deutschen Volkes*» (в особое всемирно-историческое призвание и дарование немецкого народа) (l.c. 99), о которых недавно столь резко и неожиданно заявил Ойкен. Эта мысль может перестать быть стремлением к чисто духовному господству над всем миром (в этом смысле ср., например, император у Лампрехта, l.c. 99), а деградировать до призыва к неприкрытому империализму: «*Deutschland und ein gutes Stück Welt den Deutschen... vom geographischen Nationalismus zum rassenmässigen Glauben an das Leben und die höhere Persönlichkeit unseres Volkstums... fortschreiten*». (Германию и добрую часть мира — немцам... от географического национализма к вере в жизнь и высшую личность, каковую представляет наша народность...) Примечательное развитие этой мысли находим в сочинениях Артура Бонуса (Arthur Bonus, Deutscher Glaube 1897, Zur Germanisierung des Christentums 1911 (переработанные статьи 1895-1901 годов Zur relig. Krisis Bd. I), Vom neuen Mythos 1911). Автор исходит из ничем не сдерживаемых националистических пристрастий и начинает с того, что призывает возродить культ Водана, который должен стать чем-то вроде вассала Христа (D. Glaube passim). «*Die religiöse Entwicklung der Zukunft ist die bewusste Wiederaufnahme der mittelalterlichen Anfänge : die Weitergermanisierung des Christentums*» (Религиозное развитие будущего — сознательное возобновление средневековых начал: дальнейшая германизация христианства). Немецкий народ «*am geeignetsten erwiesen, das Erbe Israels anzutreten*» (убедительнейшим образом доказал, что ему принадлежит наследие Израиля). У романских народов и славян «*von einem tieferen Verständnis des Christentums noch kaum ein Anfang vorhanden*» (нет и намека на более глубокое понимание христианства). (Zur

Germ. 12, 14, 15, первоначально 1895 г.) Постепенно подобные представления Бонуса становятся более отчетливыми и менее устрашающими. Он начинает высмеивать современных почитателей Водана. Исландские саги и германские доисторические времена способны создать лишь эмоциональный фон, человек ощущает, что тот мир был «echter deutsch und härter deutsch» (в более истинном и более жестком смысле немецким), и можно только сожалеть, что такие многообещающие зародыши германской религии не получили дальнейшего развития, но Исландия не была способна дать нам религию (Z.Germ. 105-111, 1901). Однако у немцев осталась потребность в религиозных настроениях, в которых преобладала бы «ein unbeugsamer Wille zur Macht und Gewalt der Seele zu innerstem und höchstem Stolz und Trotz» (несокрушимая воля к власти, душевная мощь, вдохновляемая сокровеннейшим и высочайшим чувством гордости и готовностью к отпору) (ib. 66), «die alte germanische Auffassung der Religion als einer Kraftquelle statt Krankenzuflucht» (исконно-германское отношение к религии как к источнику силы, а не прибежищу для больных и сирых) (42); «nicht Träume machen die Religion aus, sondern Tapferkeit und Eingreifen» (религию создают не грезы, а мужество и дерзание) (34); для немцев важнейшим вопросом жизни является вопрос «Wie herrsche ich über die Welt?» (Как мне повелевать миром?) (16, 34). В работе Vom neuen Mythos («О новом мифе») подобные мысли носят несколько менее националистический и более благородный характер (40 и далее). Во введении к статье 1911 года Zur Germanisierung («К вопросу о германизации») автор призывает не воспринимать это название «zu kleinlich» (слишком мелко). Действительно, было бы крайне несправедливо представлять этого мыслителя единственно лишь империалистом и теоретиком расизма. Из-за войны подобные настроения приняли у многих грубый и сугубо материальный характер. Не примечательно ли, что такой теолог как Дайсманн всерьез воспринял идею, которой в первый период своего творчества тешился радикально настроенный Бонус (D.Glaube, 85, 216)? И что перед Рождеством 1914 года он прославлял древнесаксонского Хелланда, Христа-Воителя, видя в нем «der tiefste und echtste Eindruck, den der deutsche Geist jemals von Christus empfangen hat» («глубочайшее и наиболее подлинное впечатление о Христе из когда-либо воспринятых германским духом») (Heliands Weihnacht, Illustr. Zeitung no. 3728, 10 XII 1914)? Разумеется, не следует придавать чрезмерного значения красноречию про-

поведников и поэзии военного времени. От огромной части напечатанного за 1914 год (и за последующие годы) мир впоследствии пожелает отречься.

К работе:

ПАТРИОТИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ В ЕВРОПЕЙСКОЙ ИСТОРИИ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА

1. (См. текст стр. 118)
2. Гомер, *Илиада*, песнь В, 212-213.
3. Вторая книга Маккавейская 8:16-21.
4. De civ. IV 15.
5. Cf. H. Finke, Weltimperialismus und nationale Regungen im späteren Mittelalter, Freiburger Wissenschaftl. Gesellschaft, Heft 4, Freiburg 1916.
6. Cf. A. Werminghoff, Gesch. der deutschen Kirchenverfassung I p. 151.
7. Cf. Archivum latinitatis medii aevi (Bulletin Ducange), t.II 93, III 30, 87, 145, VII 43. Cp. Flodoardi Annales ed. Lauer (coll. de textes, fasc. 39) p. 17, где издатель пытается найти в этом слове более глубокое значение, чем в нем заключено на самом деле.
8. Salimbene, ed. Holder-Egger, Mon. Germ. SS. 32 p.534.
9. Vie de Louis de Gros, ed. A.Molinier, 1887, Collection de textes, fasc.4, p. 26-30.
10. Joh. Saresberiensis Opera omnia ed. J. A. Giles, t. I Epistolae p. 63 sq.

11. Van den derden Edewaert vs. 1585-7, ed. Willems, in Belg. Museum IV p. 298-367.
12. Cp. Louise R. Loomis, Nationality at the Council of Constance, American Historical Review, t. XLIV, 1838-39, p. 508-527.
13. Cf. Aldus R. Michels, Zur historischen Analyse des Patriotismus, Archiv für Sozialwissenschaft 36, 1913, p.15.
14. См. недавнюю публикацию C. W. van der Pot, De plaats van het koningschap in ons hedendaagsche staatsrecht, Med. K. Ned. Akad. v. Wetensch., afd. Lett., 1939, p.360 (40): «национальное чувство, равно как и понятие нации, есть продукт XIX века».
15. Утверждение Литре о том, что слово *patrie* якобы встречается уже у Жана Шартье (Jean Chartier, Histoire de Charles VII), ошибочно, равно как и утверждение о том, будто Жанна д'Арк использовала это слово во время допросов, или будто оно употреблено в отчете Генеральных штатов города Тура за 1484 год. См.: Aulard, Patrie, Patriotisme avant 1789, La Révolution française, t.68, 1915, p.193 sq. Английский язык не воспринял ни латинской формы, ни ее кальки, ибо слово *fatherland*, как нетрудно узнать из Оксфордского словаря, едва ли можно назвать общепринятым термином.
16. См. мою статью Erasmus über Vaterland und Nationen, in Gedenkschrift zum 400. Todestage des Erasmus von Rotterdam, herausg. v. d. hist. und antiq. Gesellschaft zu Basel, 1936, p. 34-49. (Verz. Werken VI.)
17. Дословно: *alba sum amussis*, Allen VII no. 1840, cf. Adagia no. 488, L.B. II 215.
18. Utopia, ed. V.Michels & Th.Ziegler, 1895, p.30.
19. См. мою статью, уже цитированную выше.
20. Титул *Archidux* не был принят в какой-то определенный момент истории, он постепенно начал употребляться все чаще и чаще в позднем

средневековье. До Габсбургов этот титул носили некоторые другие князья, в частности, герцоги Лотарингские.

21. Cp. Aulard, l. c. p. 207.

22. См. мою статью Erasmus über Vaterland und Nationen, p. 48.

23. Journal des Débats, No 221, t. 21, p. 416.

24. Der Typus des Kleinstaates im europäischen Denken, Neue Schweizer Rundschau, Sept.-Nov. 1938.

25. Dictionnaire philosophique s. v. Patrie, section III.

26. Kleinere Schriften I p. 1-25.

27. Ibidem VI p. 411-418.

28. Brief aan Karl Lachmann, 15 Nov. 1830, Briefwechsel der Brüder Grimm mit Karl Lachmann, ed. A. Leitzmann, Jena 1927.

29. «Ich fühle mich noch heftig allen Eigenheiten meiner Heimat Zugewandt». («Я все еще чувствую сильную привязанность ко всем особенностям моей родины» (нем.),) Über meine Entlassung, Kl. Schriften I, p. 27.

30. Robert Michels, Zur Historischen Analyse des Patriotismus, Archiv für Sozialwissenschaft etc. 36, 1913, p. 14, 394. Id. Der Patriotismus. Prolegomena zu seiner soziologischen Analyse, München 1929. Id. Prolegomena sul Patriottismo, Firenze, 1932. - La Nationalité et l'Histoire, Ensemble d'études par H.Koht, L.Eisenmann, M.Handelsman, H.Oncken, H.Steinacker et T.Walek - Czernecki, Bulletin of the Intern. Historical Committee, Paris 1929, mededeelingen op het Internationale Historische Congres te Oslo in 1928.